

Иван Васильев

РАЗДУМЬЯ



ББК 84Р7—44
В19

Васильев И. А.
В19 Раздумья. Лирические миниатюры.— М.:
Златоцвет, 1993.— 128 стр.

В $\frac{0763-149-005}{\Phi 88 (03)-93}$ Без объявл.

ББК 84Р7—44

© Васильев И. А., 1993.
© «Экономика и жизнь», 1993.
© «Златоцвет», 1993.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Чтобы в обыкновенном увидеть волшебное, надо просто любить свою землю. Только и всего».

Эти строки, дорогой читатель, встретятся тебе в одной из новелл Ивана Афанасьевича Васильева, когда, завороченный идущим из самой глубины его любящего сердца светом, ты отправишься вслед за писателем в прекрасное путешествие по знакомой до боли и никогда до конца не известной земле. Вместе с писателем скользишь глазами по удивительно богатым кружевам русского языка и видишь за ним сказочный мир родной природы и всю человеческую жизнь.

Лауреат Ленинской премии в области литературы, Государственной премии РСФСР имени М. Горького Иван Васильев в свои семьдесят лет радушно встречает в любимых им Борках Великолукского района всех, кто приезжает сюда с открытым сердцем. Здесь, на Псковщине, среди почитающих его земляков раскинулись корни, питающие большой талант писателя и общественного деятеля.

Озабоченный нарастающим экологическим кризисом окружающей среды, он создал в Борках Сельский дом экологического просвещения, где сельские учителя, работники учреждений культуры, студенты вузов учатся любить и беречь природу. Благодаря стараниям Ивана Афанасьевича здесь же открыт Литературно-художественный музей истории Великой Отечественной войны. Совместными усилиями Ивана Васильева, редакции

газеты «Экономика и жизнь» и администрации Великолукского района создают Школа публицистов, Дом творчества журналистов-экономистов.

Есть у юбиляра потаенная мечта: показать на примере Борков, как завязываются в один узел экономика, экология, культура и духовность, дабы через внутреннее очищение совершенствовалась человеческая личность. Идея строительства в Борках церкви — тоже Ивана Васильева. Сейчас эта идея с благословения благочинного Великолукского округа архимандрита Сергия уже воплощается в жизнь с помощью главного редактора еженедельника «Экономика и жизнь» академика Ю. Якутина и главы администрации Великолукского района В. Синицина.

В добрый путь, дорогой наш Иван Афанасьевич! Мы, поклонники вашего таланта, всегда с вами.

Ю. Тартанов

ЗИМНЕЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ

На всей земле два цвета: белый снег да серая лента леса по горизонту.

Но лес кажется серым только издали. Войдите в него, ну хотя бы вот этой просекой, снег не глубок, не увязнете. Войдите и оглянитесь.

Бурой полосой тянутся заросли ольхи. Пониже, по-над самой землей, клубятся коричневатые, с ярко-желтыми побегами кусты лозняка. Светлой зеленцой затушеван осинник, а на его фоне белорозовыми пятнами выделяются молодые березы. В глубине просеки краски, сливаясь, образуют сиреневую дымку удивительной нежности. Дымка приглушает, делает мягкими контрастно-зеленые сосны.

А если хотите услышать звуки, притаите дыхание. Ветерок качнул черные зонтики дикого тмина — донесся сухой, чуть внятный шорох. Вот кто-то трогает тонюсенькую волосяную струну. Это синички перепархивают вдоль опушки с дерева на дерево и тихонько перекликаются: боятся потерять друг дружку. А вот и шаги! Кто-то пробирается целиной сквозь заросли. Это лось вышел на просеку, огляделся, шумно вздохнул и потянулся к молодой осинке...

Посмотрели, послушали — и будет: мороз забирается в валенки. Идите вперед, в сиреневую даль, где сливаются снег и небо. В той дали живут люди, в избах жарко натоплены печи. Вам будут рады в любом доме.

СОЛНЦЕВОРОТ

Декабрьское солнце едва переваливает междуречную долину: в десятом часу, долго путаясь в боровых соснах, оно выкатывается из-за

Держи, а в четыре сваливается за Волгу, прямо в березовую рощу, зажигая ее холодным малиновым пламенем. День ото дня все ниже солнце, все укорачивается его небесный путь.

Однажды почудился мне странный звон, будто далеко за горизонтом ковали кузнецы: утром — за сосновым бором, вечером — за березовой рощей. Назавтра заметил: солнце повторило точь-в-точь вчерашний свой путь. И на следующий. И на третий. Словно привязанное, ходило оно по неизменной дуге, а потом стронулось и поворотило назад, забираясь все выше и выше. Подивился я: да это же деревенские кузнецы приковали концы солнечной дуги к горизонту и задержали светило. И хотя жаром своим оно растопило заклепки, а все же, повинувшись кузнецам, повернуло на весну. Мужикам-то новый хлеб сеять приспело.

Ученые называют это солнцеворотом.

ЛЕСНЫЕ ШОРОХИ

Солнца нет, но тепло и безветренно. По лесу ходят шорохи. Будто зверь сквозь чашу пробирается. А следом белыми столбиками снежная пыль с веток сыплется.

Это не зверь. Это невидимое солнце работает.

Нарядила зима елки в белые шапки, надела на колючие лапы белые рукавицы. Вот и раздевает мартовское солнце деревья. Нагреет солнце хвою — снежная наметь подтает и сваливается вниз. Ветки облегченно качнутся и выпрямятся. А снег вокруг елок весь испятнан, будто медведь наследил.

СОТЫ

В февральские оттепели снег на поле осел, и стерня торчит рыжей щетиной. В марте солнце пробуравило вокруг каждой стернинки глубокие круглые дырочки. С пригорка поле похоже на пчелиные соты.

Пройдет весна, на старом ржаном поле поднимется и зацветет клевер. Прилетят сюда пчелы. Они соберут нектар и наполнят соты медом.

Кто у кого позаимствовал соты: пчелы у солнца или солнце у пчел?

СТРЕМЛЕНИЕ К ЦЕЛИ

В конце февраля дни стояли теплые, а по ночам с черного звездного неба спускался на землю мороз. На земле была весна, она только-только нарождалась — первые ручьи искали дорогу к Волге.

Утром я шел берегом, перешагивая через белые хрусткие корочки. Это мороз перехватил на полпути слабые ручейки, высосал воду, а корочки разбросал по берегу.

Но вот слух мой уловил тихий струистый говорок: какой-то ручей жил, не сдавался морозу. Я подошел поближе. В этом месте бежало к Волге два ручья. Один спускался с высокого берега широким разливом, а другой скрутил свои струи в тонкий жгут и, стремительный и сильный, словно острым ножом, прорезал в дернине узкое ложе. У первого не хватило сил добежать до реки, и он сдался морозу, второй достиг цели, влился в Волгу и каплей своей приблизил день ее освобождения от ледяных оков.

МАРТОВСКОЕ УТРО

Чуть-чуть пристывшие с ночи серые осевшие сугробы, мелкий, словно просеянный, снежок, безветрие, мягкий заоблачный свет — это мартовское утро вызывает особое состояние души, когда человек способен восхититься немудрящей картиной, вроде темного угла сарая и зеленой припудренной елочки за ним или тихой калитки

в еще не пробудившийся дом и простуженно каркающей вороны на черной яблонево́й ветке. Все кажется теплым, нежным, добрым к человеку, и, отвечая природе, душа распахивается, выпуская затворенные там суетными буднями чувства высокие и торжественные. В такие минуты человек постигает истину: люди — дети природы, только она дает им чувство прекрасного, без которого человечество не могло бы сотворить не только великих произведений искусства, но даже расписной ложки.

ЛЕДОХОД

На перекате напротив Усть-Дёржи Волга даже в лютые морозы не замерзает.

Ниже переката лед оторвало ночью, и он ушел незаметно. А верхний был припаян крепко. Даже, когда с бешеной силой нажала вскрывшаяся Вазуза, он коробился, дробился, но держался. Наконец в полдень оглушительно ухнуло, треск разнесло по окрестным деревням — и лед пошел.

Все население Усть-Дёржи высыпало смотреть ледоход.

Льдины на перекате разгонялись до скорости поезда. С каждой минутой их становилось все больше, уже неслись тесной толпой, обламывая друг дружке бока. Иные не выдерживали, отходили в сторону, в тихие заводы, и, покружившись там, вылезали на берег и с берега с ледяным спокойствием смотрели на гибнувших в бешеной круговерти сестер.

Промчался, отшумел ледоход. Успокоилась река. А льдины на берегу все лежали, пока солнце и дожди не растопили их.

Проходя берегом, я иногда останавливаюсь и гляжу на кучи песка, гальки, гниющего тростника — все, что осталось от осторожных льдин...

ОЛЬХИН ДЕНЬ

Влажный мартовский ветер быстро съедает снег. Уже оголились косогоры, над ними весь день стоит белый пар.

Но лес не пробудился. Мокрые, черные деревья ждут тепла. Только лещина да ольха проснулись и выбросили длинные бурые сережки. Им нипочем холодные утренники. Когда солнце заберется в зенит и нагреет сережки, с них при малейшем дуновении ветра слетают крохотные желтые облачка пылицы.

Лещина — кустарник уважаемый, в урожайную осень щедро одарит и человека и лесного зверя орехом. А ольха... Ну какая от нее польза? Ни гриба под ней не растет, ни ягоды, стоит весь год серая, неприметная, и даже осенью, когда все деревья наряжаются в яркие платья, она тихо роняет грязно-бурую, цвета картофельной ботвы листву. Разве на дрова годится, да и то хорошее полено не вдруг выколешь, ее и валят-то не пилой, а топором с одного замаха.

Но не полнитесь сходить в лес солнечным мартовским днем. Попадете на ольхин праздник. Униженная чуть красноватыми сережками, стоит она посреди голого леса, точно красавица в серой ярмарочной толпе, — позванивают на груди мониста, сверкают серьги в ушах — вся она, сияющая, празднично счастливая, купается в солнечных лучах, не нарадуется весне.

Побывав на ольхином торжестве, уже не отзоветесь о ней пренебрежительно, весь год будете помнить светлое настроение, подаренное вам невзрачным деревом.

СНЕЖНИЦА

С каждым днем Дёржа ширится, громче шумит на перекатах. Пройдет несколько дней, и река, вобрав воду с полей, выйдет из берегов, станет желто-бурой. Я тороплюсь запа-

стись водой, пока она чистая, хожу с коромыслом по три раза на дню.

Сегодня зачерпываю и думаю: почему один я стараюсь? Почему не запасается деревня? Старожилы лучше меня знают, что в половодье Дёржа настолько грязная, что брать из нее воду нельзя. Несу полные ведра, а у калитки — лужа по колено: чистая, как слеза, снежница. Зачем же я на реку хожу?

А по привычке. Я живу городским представлением: если лужа, то обязательно грязная. А ничего подобного, в марте, когда тают снега, а земля еще мерзлая, вода в луже чистейшая. Деревенские жители это знают и не речную воду запасают, а снежницу.

Сколько полезных знаний и навыков утрачиваем мы в городской благоустроенной жизни!

КАК ЛИПА ПОЛЕ ЗАСЕВАЕТ

В марте, когда повеет первым теплом, начинает липа посев. Сильные морозы, вьюжные ветры не смогли сорвать с ее веток семена. А при первом тепле липа сама сбросила их.

Летят по воздуху желтые парашютики. На длинном черенке три-четыре орешка, сверху крылышко, изогнутое под углом. Далеко вокруг разлетаются, весь снег ими усыпан.

Липа не боится сеять в снег. Еще утренники ударят, запорошит парашютики свежим снежком — орешкам нипочем. А вот погонит солнце снег, размочит талая вода землю — орешки втянутся в рыхлую почву. Набухнет от тепла и влаги семя, разорвет скорлупу — пойдет росток укореняться.

Много, очень много сеет липа семян. А взойдут единицы. А может, и ни одно не взойдет. Какая весна выдастся, на какую почву упадут... Но коль удачный выпадет год, ох как густо вырастут липки — целый лес. Выкапывай их тогда и сажай на улице, в сквере, в парке. Дождешься цвету — медовым воздухом не надышишься!

КОРОТКИЙ ВЕК

Ночью был легкий мороз, к утру потеплело, и брызнул дождик. Стылая земля дождь не приняла, он обиделся и заковал землю в тонкий стеклянный панцирь. А солнце взошло и растопило.

Волга выгнула белую спину: лед у берегов припаян крепко, темная снеговая вода идет поверху, а на середине лед вздуло, приподняло.

С низовья на озера летят чайки. Они садятся на белый горб отдохнуть. Серые вороны — хозяева здешних мест — теснят гостей, лезут драться, но чайки в драку не ввязываются: или не хотят ронять своего достоинства, или понимают, что не они здесь хозяева.

Перед скворечней на голой ветке яблони поет скворец. Вчера после долгого перелета он посвистывал робко и устало. А сегодня, отдохнув с дороги, распелся так, что песней навлек грозу. Небо вдруг потемнело и загремел гром — два долгих глухих раската.

«Будет тепло», — подумал я. И ошибся. Ночью навалило чистого рыхлого снега. Вороны кричат гулко и купаются в мягком, как летний тополиный пух, снегу — принимают ванны. У ворон сегодня банный день.

А чайки повернули назад, в низовье. Они летят низко, касаясь крыльями береговой воды. Чайки предчувствуют непогоду. Они оказались правы: разгулялась метель, а ночью ударил мороз. Коварная весна заманила птиц теплом и, не дав опомниться, пугнула стужей. Вот и скворцов не слышно. Тоже, наверно, улетели к югу. Только я так подумал, вдруг знакомый посвист: ти-и-иу... Вот мужественный пернатый народ! Не пасует перед коварством апреля, знает, что у всякого коварства век короткий.

СКВОРЧИНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В маленькой Усть-Дёрже целая сотня скворечен, и за труды свои мы вознаграждены веселыми скворчиными праздниками.

Первый праздник — заселение. После зимнего бездомовья приятно вернуться в родную скворечню, почистить ее, подновить гнездо и, усевшись на приступок, спеть песню возвращения. В этот праздник скворцы любят летать друг к другу в гости. Соберутся на рябине под окном и хором поют хвалу людям.

Второй — праздник гнезда. Скворчихи сели птенцов высиживать. Тут уже такое начинается, что мы в шутку называем свою деревню консерваторией.

Потом песни разом кончаются, и наступают трудовые будни.

Торопливо и деловито снуют скворцы между огородами и скворечнями. Летают по прямой, ни на что не отвлекаются, ничем не интересуются, червяка в клюв — и скорее к детям. Вместо песен над деревней стоит голодный писк: ись... ись... ись... Но вот стихло все. Вечером прошел дождик, ночью туман, утром солнце встало чистое, и сады огласились неслыханным криком. Кажется, со всего света слетелось к нам пернатое население. Начался праздник первого вылета. Необъятность простора, сладость полета, радость крепкого крыла опьянили молодежь, и она горланит кто во что горазд — ничего не разберешь. Дня два продолжается птичий сабантуй, и если в это время случится соседям встретиться в саду, они не слышат друг друга, разговаривают криком.

На третий день скворцов словно вымело из деревни — улетели на дальние луга, где мужики косят сено, там легче прокормиться семейством. И только в августе они еще раз навестят Усть-Дёржу — полакомиться винной ягодой иргой. Шумной толпой попируют недельку, скажут спасибо и подадутся на юг.

А мы, провожая их, грустим и просим прилететь пораньше.

НА РЕКЕ

Закинув донные удочки, сижу на берегу у костра. Толстые чурки тлеют бездымным малиновым жаром.

Я смотрю и слушаю весну.

Вот робко вышел из лесу первый дождик, покrapал несмело, на него зашипел недовольный костер, и дождик ушел за реку, на огороды и пашни, на клевера и озими — там его ждут, там ему рады.

В величественной тишине под необъятным куполом неба расцветает, ликует земля. Кажется, я слышу, как растет лист на деревьях, как у кромки воды приподнимают слежалую осоку молодые побеги, как струится к вершинам берез земной сок.

Пара лягушек плывет вдоль берега по течению, оставляя за собой слизкие нити черных бус. Подводные коряги ловят бусы и наматывают на свои морщинистые шеи.

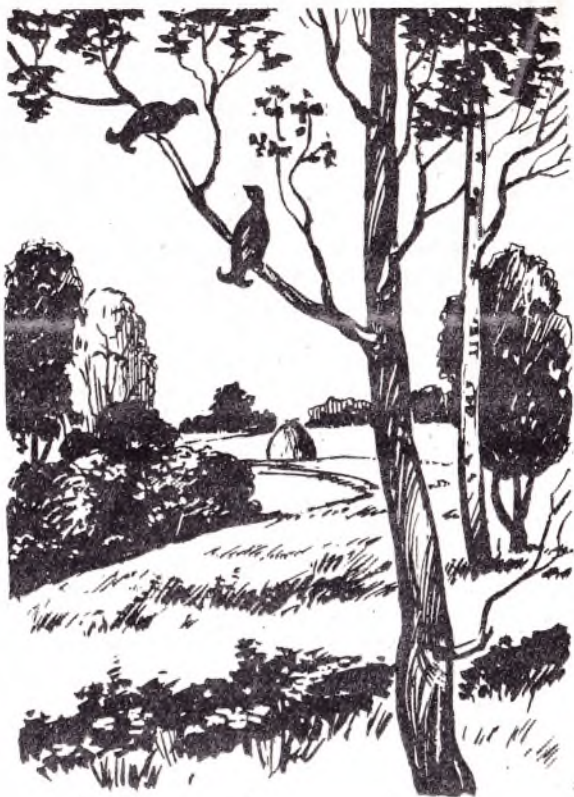
Небо темнеет, сливается с рекой, проступают звезды, все ярче, все больше, и вот уже у ног моих целые россыпи зеленоватых искр — привстань, протрени руки и черпай пригоршнями.

Весна идет!

В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ ЛУНЫ

В апреле дни стояли солнечные, а ночи морозные. Наконец в понедельник, в начале третьей четверти луны, солнце взошло в облачной завеси и, поднимаясь, волокно за собой серое покрывало из туч, постепенно затягивая им небо-свод.

И по мере того как голубовато-зеленая полоса неба на западе все сужалась и сужалась, почва «отходила» — потела, как застуженный человек под овчинной шубой. Трава, деревья, крыши — все увлажнилось, потемнело. Стало тепло и пасмурно.



Предчувствуя перелом, в ночь на понедельник распушилась ива, окуталась зеленоватой дымкой. С этого дня и началась весна.

ТЕТЕРЕВ

В апреле поет тетерев. Каждое утро, едва выйдя из дому, слышу его песню. Издали кажется, что кто-то бросает камешки по тонкому ледку: подпрыгивает камешек, и ледок булькает звонко и мелодично.

Я поднимаюсь на пригорок, за которым начинаются березовые перелески, и выискиваю певца.

Тетереву нужен простор. Он не прячется в чаще. Либо на самой вершине березы сидит, либо на чистом прикатанном поле, а то и на старой скирде сена. Человека замечает издали и близко не подпускает.

Я выбираю на вырубке пень, сажусь и слушаю. Право ж, зря тетеривиную песню называют бормотаньем. Внятно и звучно поет эта птица. В солнечной листве берез звенят малые птицы, с неба сыплются трели жаворонков, за лесом в деревне рокошет трактор — утро полно звуков, но над всей весенней гармонией царствует песня тетерева. Уже не камешки чудятся на льду — вдохновение и страсть певца захватывают тебя, ты весь во власти призывной песни птицы, и рождается желание идти на этот самозабвенный зов любви.

...Что песня, что слово сильны чувством.

ВЕЧНЫЙ КРУГ

Майские холода затягиваются. Замер чуть приодевшийся в дымчатые желто-зеленые шелка лес, остановилась робкая травка на полянках, коротки и несмелы птичьи песни на утренних зорях. Все ждет теплого солнца, а оно ходит за непроглядными тучами, тучи секут нудный холодный дождь, от которого не растет ни трава на пожне, ни лист на дереве и который клянут, как дурную напасть, трактористы и пастухи. Затянувшиеся холода всех сбили с привычного круга: пора расти, пора петь, пора сеять, а нельзя — и все остановилось в недоумении: что же делать? Великий круг жизни, продиктованный Земле Солнцем, замедлил свой ход.

Но вот ветер очистил небо, взошло яркое солнце — и все потянулось к нему: рванулась вверх трава, развернулся лист, уселись на ветвях выпорхнувшие из скворечен скворцы, затрепыхали восторженно крыльями, вздох запели песни. Поднял к солнцу голову и человек, оглядел небосвод, улыбнулся и расправил плечи: можно и в поле! Все ожило, все заторопилось, застремилось догнать

упущенное, скорее стать на привычный надежный круг.

О Великое Солнце! Ты — единственное божество, которому молится все живое на Земле!

ЗЕМЛЯ УМЫВАЕТСЯ

Днем было жарко. К вечеру небо затянуло мглой, голос в лесу гложет, эха нет — быть дождю.

Дождь пошел с утра, ровный, мелкий, сеет и сеет без передышки. Земля посвежела, засверкала. Проклюнулись зеленые шильца травы. Ива распушила белые сережки. Посветлела на осинах кора, словно их кто-то хорошенько промыл. А озимь на полях, наоборот, потемнела, стала сочно-зеленой. Земля умылась первым теплым дождем.

Каждую весну выпадает такой дождь, которым земля умывается.

ПРЕДСКАЗАТЕЛИ

Стоим с дедом Михайлом у калитки, толкуем о погоде: коварный нынче май, то погреет, то постудит, опять вот заглодало. И тут взгляд мой остановился на дубке. Я глазам не поверил: лопнули почки, вот-вот листочки выбросят. Липа рядом стоит — и не думает пробуждаться. Яблоня спит, старый тополь выжидает, а дубок, которому природой положено просыпаться позже всех, — нате вам, распускается!

— Не будет больше холодов, — говорю я деду Михайле и показываю на предсказателя.

— Гляди-ка! — дивится старик. — И впрямь тепло сулит. Береза вон тоже наперед ольхи распустилась — к сухому лету.

Годы мы прожили немалые, помним, что так бывало: ранний лист на дубе и березе — к теплой весне и сухому лету. Примета верная. Дереву, не синоптику, обмануться нельзя, иначе не выживет.

СВЕЧИ НА СОСНАХ

Сосновый бор просвечен солнцем, сквозь него видна деревня на том берегу. Но отчего крыши деревни задернуло дымом? Не пожар ли?

Поднял голову — и увидел огонь. В кронах старых сосен горели мириады маленьких свечек. Налетал ветер, отряхивал с желтых свечек пыльцу, и цветочное облако плыло в заречную даль.

Цвели старые сосны.

ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ

Ранним утром, когда только-только взойдет солнце, надо выйти в сад. На траве, на ярких, еще не полных листьях яблонь лежит обильная роса. Туман отодвигается от деревни, уходит из садов на задние поляны, к лесу, на короткое время прозрачной кисеей закрывает солнце и тает в высоком безоблачном небе.

В саду тихо. Яблони не шелохнутся. Они все в цвету. Пройдет полчаса, солнце высушит росу и гул пчелиных крыльев наполнит сад, а сейчас он беззвучен и неподвижен. Ни в какой другой час не бывает сад так неповторимо красив, как на восходе солнца. Он зачаровывает. Он рождает хорошее, светлое настроение, и в то же время становится тревожно, как бы не выпали заморозки, не убили цвета. Ты хочешь защитить сад от опасности, которой пока нет, но которая все-таки может быть. Не будущий урожай, ради которого и посажены яблони и о котором ты думаешь потом, во вторую очередь, а именно эта спокойная, величавая краса цветущих деревьев беспокоит тебя сейчас. Ты хочешь защитить красоту.

В душе истинного земледельца неумирающим зовом живет стремление уберечь, сохранить, умножить земную красу.

НАСМЕШНИЦЫ

Июнь. На лугах цветут травы. Вся деревня отбивает косы: мужики собираются на покос. На опушке леса тоже стоит звон, тонкий, мелодичный:

— Тиль, тиль, тиль...

Это синица отбивает косу. Хорошей стала коса у синицы: вон как тонко звенит!

Другая насмешница дрова пилит, к зиме готовится:

— Тили-пиль, тили-пиль...

Разогнется, передохнет — и сызнава: тили-пиль...

В полдень, когда мужики, уставшие на покосе, спустились к реке, синица жаждой томилась:

— Пить, пить, пить...

Мужики вскинули косы на плечи, пошли домой. А синица вслед:

— Пили-пили... пере-пились, пере-пились...

Ах, какие насмешницы! До смерти уставшего улыбнуться заставят.

АРОМАТЫ СЕНА И БЕРЕЗЫ

Богат июнь запахами, но из всех запахов два — неповторимы. Каждое лето вдыхаешь их будто впервые.

За деревней выкосили пожни. Трава чуть обвяла в прокосах, в полдень прокосы растрясли, раза два поворошили — и к вечеру запахло сеном. В теплом безветрии запах разлился по улице, заполнил избы, дворы, чердаки — куда ни пойдешь, всюду солнечный луговой аромат. Сено еще сложат в кучи, растрясут, опять сложат — дня три его будут этак сушить, и все это время ходишь в радостном настроении, непонятно отчего взволнованный, готовый только на добрые дела. Потом сено свезут во дворы или сложат в стожки, и аромат солнечных трав постепенно выветрится, побелевшие пожни, обрамленные негустыми берез-

никами, станут похожими на чисто вымытые полы — и тогда придет легкая, как вечерняя дымка, грусть. Она мимолетна, потому что впереди еще обильное лето, но памятна, как разлука с другом.

А вскоре в деревне начнут вязать веники. Ни с чем не сравним запах вянущего березового листа! Три-четыре дня он будет течь с чердака, где на жердочке аккуратными парами висят веники, и утром, едва отворив из избы дверь, словно в животворную воду окунешься, на весь день зарядишься бодростью.

Ароматы сена и веников необыкновенны в нашем восприятии потому, что связаны с жарким трудом на лугу и божественным отдохновением усталого тела после русской бани.

СОЛОВЕЙ

Я сидел на веранде и ждал, когда догорит последний луч вечерней зари, чтобы включить свет и дочитать книжку. Было тихо, только в отдалении, на полях, гудели тракторы да на мокрой луговине перед лесом беспокойно вскрикивал чибис.

И вдруг словно по ушам ударило: фью-фью-фью... Я вздрогнул: он? Или мне почудилось? Отложил книжку, встал. Стою, готовый сорваться и бежать. Прошла минута — и теперь уже ясно, отчетливо, торжественно выкатились из зеленых кустов над рекой круглые, звонкие, золотые колечки: пью-пью-пью... Сомнений не было: прилетел!

Я схватил магнитофон — и бегом на речку. Приготовился, замер. Не дышу. Держу палец на кнопке микрофона: не прозевать бы! Я так хочу записать первую — самую первую — песню соловья. А он... молчит. Ни звука. Гляжу на светящиеся стрелки часов: минута, другая, пятая... Четверть часа стою, как охотник со взведенным курком. Но так и не запел соловей-соловейко.

Я не стал зажигать света, читать расхотелось, остался спать на веранде. Беспокойный был сон.

Я приподнимал голову, вскакивал: все чудилось, что соловей поет. Наконец понял, что жду напрасно: сегодня он не запоет. Он с дороги, устал, у него хватило сил только на то, чтобы оповестить пернатое население, что место занято, и теперь отдыхает.

А перед рассветом, когда ни малейший звук не нарушал тишины, когда над рекой поднялась луна и сделала дали прозрачно-зыбкими, когда на траву легла прохладная роса, вот тогда-то, освежив хрустальное горлышко каплей майской росы, соловей запел.

Я словно не спал. Вскочил, но... Можно было не торопиться: песня звучала во всю силу. Теперь он будет петь до рассвета. Оделся, взглянул на часы — было ровно три, вышел на улицу. Тишина, только неумолчно шумел речной пережат. На небе едва-едва угадывался рассвет, все вокруг спало. А он пел. О, как самозабвенно пел он свою первую песню любви!

ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ

Выколосилась и зацвела пшеница. Стоит зеленой стеной, понизу уже белеть начала, в середине, где густ и сочен лист, темная, а сверху, по колосу, — с легкой желтинкой. Колос длинный и обещает быть крупнозерным.

Особенно хорошо пшеничное поле росным утром. Каждое растение, словно в тончайшем серебряном окладе, так и искрится. Меж колосьев паучки свои кружевные гамаки на ночь развесили. Роса на паутинках мельчайшими капельками осела, глянешь против солнца — дивным узорочьем вышито поле.

Днем, когда солнце поднимется и высушит росу, прилетает на поле ветер и качает колосья. Ветер не забавляется, он работает. Зеленые бутончики на колосе приоткроются и выбросят по три желтенькие тычинки. Качнет ветер колос, с тычинок пыльца слетает. Ветер опыляет пшеничное поле.

Днем от пшеницы исходит теплый дух, в нем уже угадывается запах хлеба.

Вечером низкое солнце освещает хлебную стену мягким светом, и пшеница купается в ласковых лучах.

Солнце, роса, ветер помогают человеку вырастить обильный хлеб. Они же делают поле неповторимо красивым. Не будь этой красоты, скучен был бы труд земледельца.

ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ

Когда перелески оденутся в полный лист, начинает петь иволга. На восходе солнца она прилетает на старую березу у моего дома, и я просыпаюсь от приятного флейтового свиста. Лежу и слушаю. Красиво поет иволга, а увидеть ее долго не удавалось.

Я стал ходить в перелески. Встану под дерево и начинаю подражать иволгиной песне. И вот однажды птицы слетелись на мой зов. Они уселись на березе, в эту минуту взошло солнце и заиграло на ярко-желтом оперении птиц — будто золотые самородки закинул кто-то на вершину.

Птицы разглядели меня и снялись. Не более полминуты любовался я чудесным зрелищем, а убил на это два лета. Как у настоящего золотоискателя!

БЕРЕЗОВЫЙ ДОЖДЬ

Было пять утра. Слегка моросило. Солнце еще не взошло, рассвет занимался мягко и спокойно. Я стоял на горе за деревней и наблюдал, как зарождается туман. Он начинался над Волгой и по низинам плыл к лесу. Затопил пойму, поземкой потек через гору, заливая овсяное поле внизу, и уперся в лесную опушку. Лес будто приподняли и отодвинули назад, от него осталась

плавающая в молочном мареве тонкая зубчатая лента, затем пропала и она.

Я спустился с горы, перешел поле и, войдя в лесную сень, подивился, что тут, под пологом берез, тумана нет и все хорошо видно. Почему лес не пускает в себя туман?

Пока собирал грибы, поднялось солнце, родился ветерок, он качнул вершину одной березы, другой, пробежал легкой волной по всему перелеску, и я услышал дождь. Это был странный дождь, он шел не из тучи, а с берез. Каждое дерево сеяло свой маленький дождик, а вместе получался такой, под которым и промокнуть можно было.

Так вот в чем дело! Березы, смыкаясь кронами, образуют полог. Туман лег на эту живую зеленую крышу, скопился в две-три капли на каждом листочке, а ветер подул, березы отряхнулись — и получился дождь без тучи.

Сколько на свете прожил, такого не замечал. А заметил и название дал: березовый дождь.

ОГОРОД

Свежее утро. Я отворяю калитку, чтобы через огород пройти в лес, и останавливаюсь зачарованный. Капуста, лук, огурцы, свекла, подсолнух жадно пьют ночную росу.

Сочные сизо-зеленые капустные листья, точно ладони человека, вымолившего наконец дождя, разъяты и обращены к небу; росяная изморось, сплошь покрывшая лист, копится в круглые капли; по жилкам листа, как по дорожкам, капля бежит к капле, набухает, тяжелеет и живым шариком скатывается вниз, на землю — поит корни.

Буйный лук, ошетилившись упругими перьями, выстроился подобно дружине копьеносцев; копы подняты так густо, что не видно за ними узорчатых шеломов нежного мака; а листья подсолнуха висят над лесом остроперых копий как боевые штандарты; сейчас трубачи возвестят поход —

качнется строй копыеносцев, всколыхнутся и за-реют над строем штандарты, заблестит в первых лучах солнца узорочье шеломов.

На луковое полчище взирает из-под тына важно рассеявшаяся тыква; широкие полотнища листьев занавесили грядку, словно войско разбило на краю огорода палаточный городок.

А огурцы, как причудливые бабочки, опустились на землю ровными строчками; у каждой бабочки — два маленьких глянцевиных крыла и широкий отчеканенный из зеленой меди хвост.

Развесистые помидоры в окружении колышков-телохранителей просторно стоят посредине грядки, а по краям с трудом держит бледные с красными прожилками отяжелевшие от росы листья недавно пересаженная свекла.

Ухоженные, пышно разодетые растения бражничают за столами-грядками, каждое на своей грядке — по чину и знатности род. Славя хозяйку и свежую ночь, пьют они прохладную росу, насыщаясь на долгий жаркий день. Плодами они одарят осень, а сейчас радуют красотой.

...Человек, ожидающий от работы только рубли, не получает главной платы за труд — наслаждения творчеством.

КАРТОШКА



маток огорода я засадил картошкой. Сажал, по моему разумению, ни рано, ни поздно — 10 мая. Брал в учет морозную зиму, предполагал сухое лето, соответственно и шматок выбрал — посурее. Все шло по расчету: в мае сушь, в июне сушь, а потом... С Петрова дня, то есть с 12 июля, как зарядили дожди да на целый месяц. Картошка полезла в тину, плети выгнула по метру, все переплелось, перепуталось... Досадно, конечно, ну да с природой так: сколько ни пристраивайся, все в чем-то промахнешься.

Пришло время копать. Беру вилы, загоняю под гнездо, а у самого что-то такое трепещет внутри,

не спешу гнездо выворачивать, хочется продлить миг ожидания, самого себя потомить надеждой. Стою и думаю: что там, в этом бугорке земли? Огурцы, томаты, лук, свекла — с этими проще. С яблоком, с ягодой, с хлебом — тоже. Плод на глазах зреет, завязался — и уже знаешь, что он тебе сулит. А с картошкой — втемную. Ну, выборочно, конечно, можно проверить, да все это не то, все приблизительно, настает тот самый миг, когда надо копнуть, вывернуть — и пережить либо радость, либо огорчение.

Из таких вот мгновений, часов, дней ожидания и надежды и слагается труд земледельца.

СОЛНЦЕ-ХУДОЖНИК

Лунной ночью пала на траву седая роса, и над Волгой поднялась высокая пепельно-сизая стена тумана.

Рассвело. Из-за пригорка сверкнула искорка солнца, и луч от нее, скользя по стерне ржаного поля, уперся в сизую стену, вызолотил пятнышко, будто художник коснулся кистью чистого холста, сделал пробный мазок. Через две-три секунды кисть пошла писать уверенно: покрыла целый угол холста розовато-голубым тоном, едва заметной охрой положила тени от прибрежных верб, потом мазнула белилами, обозначив стволы заречных берез. На сером холсте тумана солнце рисовало картину. Она была очень живописна, но, к сожалению, солнцу нельзя было сказать: «Остановись, картина хороша, дай насладиться искусством». Солнце выкатилось целиком и убрало собственное творение. Спасибо и за это, великий художник, я сохраняю в памяти твою волшебную кисть. Буду знать, что по утрам ты волшебничаешь, и, когда душа затоскует по красоте, постараюсь не проспать эти минуты.

ЖАВОРОНОК

Утром я шел тропинкой через рожь. Накапывал дождь, но теплый ветерок обдувал колосья, они быстро обсыхали, и стоило коснуться рукой, как с колосьев слетали облачка пыльцы: рожь цвела.

Впереди, слева от тропинки, вспорхнула птичка. Вспорхнула и упала. Рожь была такая густая, что птичка запутывалась в ней и не могла взлететь. Я легко достал ее рукой. Серое с коричневатым оттенком перо, светлый не очень длинный клювик. Ладонью я чувствовал тепло ее маленького тельца, а она, наверно, чувствовала тепло моей ладони и сидела смирно, бесстрашно уставив на меня черную бусинку глаза. Я давно заметил, что малые птицы в руке человека не бьются, сидят, притихнув, будто в гнезде.

Я поднял руку над колосьями ржи, раскрыл ладонь. Секунды две птичка сидела не шелохнувшись, потом вспорхнула и, часто-часто трепеща крыльями, пошла прямо вверх, посылая на прощание звонкую трель. Сразу же свечками поднялись еще две, и еще, и еще — и зазвенели в поднебесье веселые колокольчики.

Жаворонки пели песню признательности человеку за его доброту.

БЕЗОБЛАЧНАЯ ГРОЗА

На небе ни тучи, ни облака. Небо — белый потолок, солнце — матовая лампа.

Но вот в полуденной стороне над сосновым лесом появляется синь. Она постепенно густеет, набухает, расплывается вширь, тянется кверху и гасит матовое солнце. Краски на земле меркнут. Пронзительно яркую зелень подернуло сумерками. Вверху глухо загремело.

Наконец по густо-серому набрякшему мешку сверху вниз полоснула острым лезвием молния, раскроила его с треском и выпустила ветер.

Короткий вихрь прошелся по-над землей, расставив пыльные столбы, но их тут же повалил крупный секущий дождь.

Опорожнился мешок — и снова лазурное небо и золотое солнце. Ни тучи, ни облака...

ЖИВОЙ НЕВОД

В водополье Дёржа подмыла суглинистый берег, оторвала и унесла половину косогора. Образовалась стена под крышей-дерном. Прилетели ласточки и насверлили гнезд — три ряда дырочек под зеленой крышей в охряного цвета стене.

Середина лета. Только-только взошло солнце. Оно ударило низкими лучами прямо в стену — в каждую дырочку по лучу — и разбудило ласточек. Ласточки проснулись — и за работу. А работа известная: мошек ловить, птенцов кормить.

Кружится над плесом живой невод, то раскинется широко, то стянется вдруг к берегу-стене, исчезнет на миг в норах-гнездах. Кажется, невидимый рыбак сноровистой рукой закидывает над водой необыкновенную снасть из черно-белых нитей.

Триста раз на дню кормит ласточка своих птенцов. Потому и работает живой птичий невод от зари до зари. Нелегкое дело — детей вырастить, на крыло поставить.

ЦВЕНЬКА

Есть у меня знакомая синица по имени Цвенька.

За деревней на траншеях растут березы. Под березами тропа, которой я хожу в лес.

Сначала мне казалось, что в березах невесть сколько птичек: вся полоса прямо-таки наполнена звоном их голосов. Но прислушался — и вижу: э, нет, в птичьем царстве строгий порядок. Вот на

краю полосы одна синичка выводит: си-си-си... трэ-тэ-тэ... Прошел шагов сорок — вторая: синь-синь-цви... Дальше — третья, еще дальше — четвертая. Сидят цепочкой на самых вершинах, распевают, но в гости друг к дружке не ходят. У каждой синицы, оказывается, свой надел, летать в чужой нельзя.

Когда я разобрался в птичьем порядке, стал различать их по голосам. Они хоть и одну песню поют, да по-разному. Особенно выделялась та, что жила на изгибе траншеи. Она пела так: си-си-си... цвень-цвень-цвень... За это и прозвал я ее Цвенькой.

Утром, едва только поднимусь на пригорок, уже различаю в птичьем хоре ее голосок. Подхожу ближе и говорю:

— Здравствуй, Цвенька!

— Си-си-си... Цвень-цвень... — отвечает она, и я понимаю, что она говорит: «Спасибо. Добрый день».

При дележке Цвеньке достался самый живописный надел. Внизу — заросшее иван-чаем колено траншеи. Справа и слева высокие березы-тройчатки, а между ними рядок маленьких березок и сосна-подросток. Сзади и спереди — поле, засеянное овсом. Над полем встает солнце и светит Цвеньке прямо в «окошко».

Один раз вздумалось мне подразнить Цвеньку: стал я высвистывать ее песенку. Как она рассердилась! Свечкой вверх взлетит, крылья распушит, парит над своим владением и выговаривает мне: «Пришел, так слушай. Видишь, место занято».

Больше не дразню Цвеньку. Мирно живем. Я усаживаюсь на бруствер старой траншеи, вспоминаю, как некогда, на войне, копал вот такие же окопы, а она сверху, с березы поет мне про красное солнце, синее небо и гуляющий в овсах ветер.

ЛИСЕНОК

Ехали мы с приятелем на двухместном грузовом «москвиче». На дороге вынюхивал что-то лисенок. Заслышав шум мотора, он прыгнул в кусты и притаился. Мы остановились и, не

вылезая из кабины, стали высматривать лисенка. Вот он! Высунул из кустов мордочку, уши наострил и гадает, что за зверь остановился перед ним. Мы стали подзывать лисенка: «Иди сюда, не бойся». И что вы думаете, идет лисенок к нам! Выбрался из кустов, через канаву переступил, на дорогу вышел. Солидный уже, почти взрослый. Шерсть ярко-рыжая, на груди светлый передничек, на щеках белые подушечки, а лапки — все четыре — в черных чулочках. Ну красавец!

Вышел лисенок на дорогу, сел перед самой машиной и разглядывает ее. Мы даже дыхание затаили: что же дальше будет? Но тут грузовик сзади затарахтел — лисенок отскочил и спрятался. Проехал грузовик — опять выходит. Вот любопытный! Мы совсем осмелели, из машины вылезли, совсем рядом стоим, лисенка разглядываем, хоть в руки бери. Но загудела целая колонна грузовиков с зерном, дымом наладила — и убежал лисенок.

Поистине любопытство страха не ведает.

СОРОЧЬИ ПРОКАЗЫ

Теплое августовское утро. Солнце только что взошло. Сквозь редкий туман льется розоватый рассеянный свет. Сжатое овсяное поле, фронтоны изб, старый тын, макушки пожелтевших берез и черные ветки усохших с зимы яблонь — все светится по-утреннему, чисто, мягко, нежно.

Тихо. Только пинькает в саду синица да две сороки, словно озорные мальчишки, играют в войну. Сидят, одна на яблоне, другая на березе, и палят друг в дружку трескучими очередями. «Березовая» сразила «яблоневую», та замолчала, а эта все строчит и строчит, пока не вышла на крыльцо хозяйка, не погрозила коромыслом: «Вот я тебя, трещотка!» Унялась. Хозяйка повернула к реке, а сорока ей в спину: трэ-тэ-тэ... Пугнула, на ветке крутанулась и полетела, довольная своим озорством.

ТУМАН И БЕРЕЗЫ

Весь день ветер косматил березы, к вечеру успокоился и затих. Солнце село, и к березам пришел туман. Растрепанные косы окунули березы в белую пену, и седой туман всю ночь разбирал их по прядкам, омывал от пыли и шептал что-то свое.

Утром он неслышно ушел, а прибранные им березы опять играли весь день с баловником-ветром.

Так продолжалось все лето, а к осени, когда в пышные косы берез вплелись желтые пряди, туман перестал приходить. Некому стало причесать и омыть поседевшие косы, посеклись, поблекли они, и ветер рвал со свистом последние листья, уносил, улюлюкая, вдаль.

Однажды поздним предзвездьем наведаясь под вечер туман, и подошел он к березам и хотел, как прежде, омыть шелковистые пряди, но увидел голые ветки, опустил руки и отступил назад.

Пожалели березы, что впустую с ветром играли, да надолго ли? Весна придет, опять начнут забавляться.

Так было, так будет вечно.

БЕЛЫЕ ГОРЫ

По утрам над Волгой поднимаются белые горы. Я шел по грибы, поднялся на гору, глянул — куда же подевался заречный лес? Приречный — вот он, густой, необыкновенно темный, а за ним — белый снеговой хребет. Вершины гор то закругляются, то вытягиваются острыми пиками и куда-то плывут, постепенно истончаясь до кисейной прозрачности и открывая заречный лес. Пока я стоял, горы растаяли, ушли, и снова мир стал привычным, знакомым.

Белые горы сотворяет по утрам солнце. Едва оно поднимется над горизонтом, как туман, который спокойно спал всю ночь над рекой, начинает

клубиться и тянется к солнцу. Недолго живут горы, какие-нибудь минуты, а чтобы видеть их, надо встать пораньше, до восхода солнца.

ПОЛЕ НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА

В августе на восходе солнца овсяное поле похоже на накрытый скатертью большой-пре-большой стол. Пока солнца нет и над полем лежат полосы тумана, скатерть кажется небрежно накинута, но вот в лесную прогалину, как в окно, выглянуло солнце, и первые лучи его, будто добрые руки хозяйки, разгладили складки, и золототканая скатерть засверкала.

В этот момент надо прищурить глаза. Безлистая, сожженная химией береза на краю поля покажется подсвечником, над которым курятся легкие дымки от потушенных свечей. Капли росы заискрятся граненым хрусталем, а сиреневые метелки иван-чая на меже превратятся в гору яств.

А в самом деле, если вообразить, сколько родило это поле с тех пор, как распахал его человек, то, наверно, стогектарный стол можно бы сплошь уставить и питием и яствами.

Но, чу! На золототканую скатерть, на обильный стол упало и покатилося что-то безобразно-уродливое. Через овсяное поле мчится с грохотом машина. Это грибки торопятся за добычей в лес. Мчатся поскорее захватить кроху и не видят, не слышат, как хрустят под колесами... пироги.

Воистину, когда ем, глух и нем.

РЯБИННИК

За два дня, что был я в отъезде, дорогу в лес будто обсадили диковинными кустами с гроздьями желтых ягод. Зацвел рябинник — краса осенних дорог, некошенных пустырей, старых канав.

Когда на исходе лета поблекнет, посереет,

словно присыпанная пеплом, земля, когда потянутся по небу тяжелые, как нагруженные возы, тучи, тогда по канавам вдоль дорог загораются желтые огоньки рябинника. Идешь пустынной дорогой или неуютным полем, увидишь это позднее — и оттого вызывающе яркое — цветение, и станет вдруг теплее на душе, почудится на миг, что лето не ушло, что завтра-послезавтра ветер прогонит тучи и снова засияет солнце.

СЕНТЯБРЬСКИЕ РАССВЕТЫ

Я встаю рано, едва обозначится серенькая щель между шторами на окне. Раздергиваю шторы, ставлю на плиту чайник, и пока закипает вода, окна светлеют настолько, что чай можно пить не зажигая лампы.

Теперь самое время выйти на улицу. Все вокруг наливается необыкновенно мягким светом, как будто серую краску разбавляют белилами. Примешивают все больше, все быстрее, пока серый цвет не превратится в дымчато-голубой с едва уловимым розоватым оттенком.

Одновременно меняются, смешиваются запахи. Первым улавливается запах тумана. Туман пахнет вянущими речными водорослями и лесной прелью. Потом с огородов потянуло горьковатой золой от сожженной вчера ботвы. Сенные сараи источают вялый, едва напоминающий сенокосную пору, запах скошенной отавы. Наконец — особый, присущий только раннему сентябрю аромат сушеных грибов. Это хозяйки, набив с вечера жаркие печи связками боровиков, оставили печные вьюшки открытыми, чтобы не пахло в избе, и грибной дух, выходя через трубы, распространяется по всей деревне.

И мягкие рассветы и горьковатые от увядания запахи присущи только раннему теплему сентябрю — поре уборки огородов и последней щедрости леса.

Вечером в поредевших вершинах берез белым колесом катится луна. Еще можно различить тусклое золото листвы, старую медь сосен и меловую стену березника. Скоро цвета смешиваются и образуют легкий сиреневый туман. Он постепенно густеет, превращается в зыбкий сумрак лунной ночи — и тогда начинается волшебство. Перелески превращаются в чащи, жидкий кустик ольхи — в поднявшегося на дыбы медведя, а лоси, что идут по-за огородами в устье Дёржи на кормежку, — в громадных допотопных чудищ. Собачонка Найда, отчаянно смелая днем, притихла в конуре, боится тявкнуть. Заснувшие избы мерцают окнами, в избах по полу ходят белые тени.

Под утро рассветная синь начинает теснить лунный сумрак.

Первым высветляется косогор за деревней, и если в этот час туда подымешься, увидишь удивительную игру света. Вот чуть-чуть проступил багрянец листвы, и воздух начинает розоветь. До восхода еще далеко, но розовый свет, густея и наливаясь, струится уже в низины, на огороды, к деревне, и скоро все окрест приобретает нео-



быкновенную, подкрашенную кармином прозрачность. Розовый свет исходит не от солнца — от листвы.

В ОЖИДАНИИ БОРОВИКОВ

Спокойная плотная тишина поселилась в увянувших полях. В лесу попискивают синицы. Сентябрь...

Меня как одержимого каждое утро тянет в лес. Я жду боровиков. Я все еще надеюсь, что они пойдут густо, обильно, черноголовые крепкие сгустки невидимой жизни, выпирающие за одну ночь из земли.

Лето было сухое, грибы шли плохо. На второй неделе августа вылезли кое-где корявые немощные одиночки и скоро кончились. Но в середине месяца выпал ливень, потом всю ночь шел обложной дождь, по утрам лежали густые туманы, и по всем статьям надо бы быть боровикам.

Меня гонит в лес нетерпение. Я вхожу под сень берез с волнующим ожиданием: вот-вот увижу коричневый бугорок, подойду неспешно, присяду, нагляжусь вволю и тогда только протяну руку. И, срезав гриб, еще минуту-другую буду вдыхать удивительный запах лесной прели и потом уж, насладившись досыта, положу в корзину.

Но напрасны мои ожидания. Лезут яркие мухоморы, пошли сыроежки белые, за ними красные, кое-где выскочили семейки волнушек, бледных поганок расплодилось, а боровиков все нет и нет. Как сладкую приманку подарит лес один-два за утро, и я убеждаю себя: это начало, это только начало, завтра-послезавтра пойдут вовсю. Опять поднимаюсь чуть свет, тороплюсь не опоздать, не прозевать, а возвращаюсь с пустой корзиной. И до того завладело мною это страстное желание дожидаться настоящих грибов, что я совершенно не видел, каков же нынешней осенью был лес.

Вот так гонимся мы за успехом, за славой, за деньгами, снедает нас нетерпение достичь призрачной вершины счастья, а какова жизнь была, увы, не заметили.

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ

В сентябре нет птичьих песен.

В сентябре поет земля. Так кажется, потому что мелодичная неумолчная песня слышится откуда-то снизу, из-под ног. Вслушайтесь: как будто десятки крохотных детских погремушек трясет кто-то над колыбелью. Это звенят кузнечики.

Теплый вечер. Садится солнце. Тишина и покой вокруг. В такой час и заводят свои погремушки кузнечики. Я сижу на крыльце и старательно слушаю. Сначала кажется, будто звон беспорядочен, гремят кто во что горазд. Но постепенно различаю порядок в оркестре и тональность инструментов. Не в кучу сбились кузнечики, а расселись по своим наделам, в трех-четыре скачках друг от друга. Это расстояние и создает разную тональность. Концерт получается на диво мелодичный.

Я взялся считать, на сколько же хватит духу у музыканта? Вон хотя бы у этого, что звенит под садовым столиком. Включил секундомер, считаю: тик-так, тик-так, тик-так... Когда же он передохнет? Ровно полкруга обежала стрела, когда кузнечик стих. Но — всего на секунду. И опять загремел погремушкой, еще полминуты. И так до поздней ночи. Это какую же силу надо иметь! И старание. А мы, набалованные за лето птичьими песнями, даже не замечаем кузнечикова концерта. Он же и для нас старается.

ОСЕННИЕ ТРАВЫ

Овражистый кусок берега Дёржи никогда не косят. Здесь растут высокие несъедобные травы. Летом они густы, буйно зелены и некрасивы. Они красивы осенью, когда опадут листья, увянет и пригнетса осока, а стволы дудочника, дикого тмина, репейника одеревенеют и станут похожими на миниатюрный лес. Вот тогда стоит войти в заросли, присесть на укрытый

травую валун и неторопливо разглядеть царство, до которого не охоч вечно занятый делами человек.

Бурый цвет преобладает. Его контрастность смягчается бледной угасающей зеленцой зонтиков тмина, снежной белизной соцветий тысячелистника, нежной голубизной одиночных цветков цикория. Доцветает белый донник, ярким малиновым огнем горит запоздалый шар татарника, серым пухом лохматятся треснувшие стручки кипрея.

Богаты тонкими нежными красками осенние травы. Но еще богаче запахами. Снизу, от земли, веет сыроватой прелью листьев, душно от крапивы, легкий древесный запах исходит от стволов дудочника, маслянисто и хлебно пахнут созревшие семянки тмина, цикория, лебеды, терпкую приятную горечь распространяет полынь. Нет только цветочного аромата. Ярко-желтые шапки рябинника, головки поздней ромашки, цветок лугового василька не привлекают ни пчелы, ни бабочки. Заросли осенних трав — пристанище птиц. Воробьи, синицы, свиристели прилетают сюда как в столовую. Ради птиц и одеревенели высокие травы, всю зиму будут стоять, не согнутся под метелями и снегами, чтобы кормить своими семенами пернатых зимовщиков.

НА СМЕНЕ НОЧИ И ДНЯ

Середина сентября. Пять часов утра.

Высоко над деревней в легких чешуйчатых облаках стоит луна. Она только-только пошла на убыль, правый нижний угол ее словно подтаял. Белый лунный свет ярок, он забивает наплывающую с востока розоватую синь медленного рассвета.

Я иду на восход, и впереди меня движется моя собственная тень. Через каждые двадцать шагов замечаю, как тень истончается, делается совсем прозрачной, вот на траве уже не заметна, лишь на желтой ржаной стерне угадывается чуть-чуть. Проходит еще минута, и тень пропадает: сила двух источников света — луны и зари — сравнялась.

В березнике матово белеют ближние стволы, а в глубине все сумеречно, зыбко, даль не просматривается, идешь — будто в сказку вступаешь: одна за другой растворяются перед тобой двери, и возникает такое ощущение, что дверям этим не будет конца, и вроде бы начинаешь робеть, хочется остановиться, подождать, но таинственная сила все влечет вперед, к последней двери, за которой должен распахнуться во всю силу светлый, радостный простор. Но прежде чем достигаю этой желанной черты, заря успевает залить березник молочно-розовым светом, и сказка кончается. И тогда мне становится жаль исчезнувшей сказки, которую начали, но не досказали лунная ночь и восходящая заря.

ОЗЯБШИЕ БОРОВИКИ

Небывалое дело: в сентябре, в самую грибную пору, пошел снег. Валит и валит, как будто нежданная зима заявила. Посмотрел я на небо — не видать просвета, накинул плащ-палатку и отправился по грибы.

Лес пестрый: на полянах белым-бело, а под березами, как под зелеными шатрами, — желтая постель из листьев. Но вот взошло солнце — и шатры потекли. Кап... кап... — застучала капель по сухим листьям, точно весна наступила.

Долго ходил я по лесу, и хоть бы один боровик на глаза попался. Уж начал было ворчать: кто-то успел до меня. Но подумал: кому охота в такую непогоду в лес тащиться?

Стал я ближе приглядываться. Грибы ведь как собираешь? Настроись на дальний, что называется, прицел, сразу всю поляну глазом охватываешь, и, если стоит где боровик или подосиновик, мимо не пройдешь. Но зато очень легко разминешься с тем, который под ногами окажется. Обычно таким манером в бору ищут. А в березнике по-другому надо: под ноги гляди да не суетись, не старайся побольше обежать, наберись терпения.

Как только вспомнил это правило, так сразу и

увидел семейку белых. Головенки у них небольшие, желтовато-коричневые, как раз под цвет опавшего листа. Вот ведь ловко замаскировались! И не вдруг бы нашел, если бы не капель. Омыло каплями шляпки, и они заблестели глянцевицей, а лист, намокая, наоборот, становился серым и жухлым, — боровики-то враз и выделились.

Присел я перед семейкой, ножик достал и только дотронулся до шляпки, так руку и отдернул. Гриб был холодный-холодный. Показалось мне, что боровикам зябко. Ну, как же, думаю, на таком-то холоде вылезти из теплой моховой постели! Срезал грибы, положил в корзину — да под палатку: отогревайтесь! И такое чудо тут случилось: один за другим потянулись в мою корзину боровики, штук пятьдесят в то снежное утро нашел.

А что ж удивительного: гриб, он тоже обхождение любит.

ПОЗДНИЙ МУХОМОР

При полном безветрии с глухого серого неба сыплется «манка». Снежинки настолько мелкие, что тают, не долетая до земли, — от тепла, излучаемого прелой листвой.

В березнике, на полянке, устланной бурями листьями, красуется яркий молодой мухомор. Шляпа у мухомора цвета ранней вишни, с белыми крапинками по полям. Ножка матовая, стройная, с нежной манжеткой повыше колена.

Красивый поздний гриб был так похож на нарядного парня-гуляку, проспавшего ярмарку, что я сожалеючи сказал: «Бедняга, ну кому восхищаться твоей красотой: зима ведь с неба сыплется!» И занес было ногу, чтобы растоптать, но что-то удержало меня.

Постоял над мухомором и устыдился своего бессмысленного побуждения. А вдруг усталый охотник мимо пройдет... Может, дровосек, заморившись, присядет покурить... Увидят — подивятся, а придет сравнение с парнем, который после

ярмарки покрасоваться на улицу вышел,— улыбнутся светло и что-то приятное из своей жизни вспомнят.

Чувство красоты на то и дано человеку, чтобы жили в душе светлые желания. Не будь этого, одолела бы слепая страсть растоптать все, чего нельзя в рот положить.

РАССВЕТ В ОКТЯБРЕ

В октябре зори белые.

Медленно и робко светлеет край неба на востоке. Светлая полоса ширится и, набирая молочной белизны, гонит ночную синь к западу. На закатном краю синь сгущается до черноты — там еще царствует ночь.

На востоке ни розовинки. По белому куполу веером вытянулись дымчатые облака, словно борозды по косогору, и устремились в ту точку, откуда должно показаться солнце. Его приближение чувствуется по вспыхнувшему наконец розовому пятну повыше горизонта. Похоже, будто в горниле невидимой кузницы сквозь слой угля прорвалось пламя, и отсвет его заиграл на кровле. Но кузнец не дал разыгаться огню, подкинул свежего угля — и небо затянуло багрово-сизым дымом. Это тронулся и поплыл на встречу солнцу туман с Волги. Так, скрытое туманом, без былого пожара в полнеба, и взошло октябрьское солнце.

УТРОМ

Чтобы почувствовать прелесть осеннего деревенского утра, надо встать, едва забрезжит за окном рассвет, выйти в коридор к ручейнику, умыться ледяной водой, потом надеть валенки, фуфайку, принести со двора сухих березовых дров и затопить печь.

Дрова занимают сразу, тяга хорошая, огонь гудит в топке, по избе ходят красные отблески —

на душе становится легко и безмятежно, ты весь в ожидании удачного дня. Теперь, пока протопится печь, надо выйти на улицу, найти занятие, настынуть на легком морозце и возвратиться в теплую избу.

Не важно, что у тебя впереди: дойка коров на ферме или урок в классе, поездка на тракторе в луга за сеном или писание бумаг в конторе,— ты настроен на плодотворную работу, заряжен добрым желанием. А все начинается с такой малости, как встать на рассвете и затопить печь...

ДОМОСЕДКА

Тихий-тихий лес. Теплая оранжевая земля. Серый туман.

Отсыревшим голосом каркнула ворона. В заречной деревне возвестил утро петух. Коротко и резко «хохотнул» дятел. Вот и все песни сентябрьского леса.

Но чу! На тоненькой волосяной струне запиликал скрипач. Это вылетела на опушку синица. За ней выпорхнула целая стайка. Шустро перелетают с ветки на ветку и пиликают и пиликают на тоненьких струнах. Веселая получается песенка! И слышна далеко, на весь лес: пини-пинь... пини-пинь...

Как отрадна эта единственная песенка в голом лесу! Летом, когда все вокруг звенит от птичьих голосов, синицу не слышно. Она не берется спорить со знаменитыми певцами. А вот кончились гастроли залетных певцов — и объявилась домоседка синица. Человек сразу услышал ее и благодарно улыбнулся певице осеннего леса.

ОСЕННИЕ КОВРЫ

Холодный ветер ткет осенние ковры. Качаются белые челнски, тянут золотые нити через зеленую основу, и расстилаются на целые версты березовых лесов теплые мягкие ковры.

Устанет ветер-ткач, приостановится, посмотрит, что у него получается,— видит: зелени много, золота маловато. Упругим напором толкнет стволы-челноки, потянутся сверху вниз желтые нити, разматывая кроны-клубки. И так весь день.

Под свист ветра, под шорох листьев память листает книгу жизни, и почему-то в белых, как храмы, березниках светло прожитые страницы ее обязательно читаются с грустью.

Над белой стеною горят купола,
И воздух прозрачен и чист.

«Ты помнишь? Ты помнишь? Ты помнишь?» —
Шепчет опавший лист...

...Осенние ковры вытканы ветром из березового золота пополам с грустью.

ЗЕЛЕННЫЕ ПЛАТЬЯ

Давно облетели березы и липы, только вишеник в садах полыхает бордово-оранжевыми кострами да красуется в палисадниках зеленая сирень.

Но вот ночью ударил первый мороз, и утром пошел по деревне странный шорох. То раздевалась сирень. В какой палисадник ни загляни — лежат на белой траве зеленые платья.

Сирень разделась — жди зимы.

ГЛУХОЙ ДЕНЬ

Ноябрь. Полдень. Солнца нет. Небо глухое, хоть бы где-нибудь просвет. В воздухе ни дождь, ни туман — легкая изморось завесила дали серой нестираной кисеей. В лесу слышался далекий гон — две гончие подняли зайца. Без эха ударил выстрел, собаки смолкли, и опять тишина.

День без звуков, будто и нет вокруг жизни.

...Говорят, для человека самое страшное — внутренняя пустота. По-моему, пустота вокруг страшнее: ты говоришь — тебя не слышат.

РИТМЫ

Красив ранний мороз: травы в инее, лист на деревьях заколянел и хрустит, на земле резкие тени. Тени медленно перемещаются, съеживаются и постепенно блекнут. Солнечный свет все ярче, лучи все теплее, вот уже начал отходить заколяневший лист, и с деревьев закапало. Капли падают в пожухлую траву мягко, размеренно, осторожно.

Я слушаю осеннюю капель и думаю, что вот и хотел бы ускорить, да не можешь. У природы свои ритмы, нам не подвластные. Привыкшие к тому, что техника убыстряет темп нашей жизни, мы, сталкиваясь с неторопливой размеренностью природы, никак не хотим соглашаться с ее медлительностью, нас так и подмывает поторопить созревание трав и хлебов, восходы и закаты. Нам никак не переключиться со своего бешеного ритма на медленный природный, и вот уже в лесу, на реке мы не отдыхаем, а раздражаемся, злимся на то, что природа не спешит за нами: не созревают в одночасье ягоды, не растут по нашему хотению грибы, долго оттаивает земля, дожди льют не вовремя, снег где-то задерживается. Привыкшие повелевать машинами, мы теряемся от бессилия изменить ход природы.

Нам бы радоваться, а мы недовольны.

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Ночью первый мороз, словно маляр кистью, прошелся по земле и побелил огороды и крыши, брызнул мелом по коричневым бороздам зяби, по зеленым кустам сирени. Отава на пожнях заколянела, хрустит и крошится под ногами. Облетающие березы посеребрил иней.

Тихо в лесу. Так тихо, что слышно, как падают с сосен сухие иголки. Вокруг стволов на ярком брусничнике желтые круги из иголок, а сосны все

сыплют и сыплют, будто и их, как березы, мороз решил раздеть догола.

Только одна сосна, высокая и прямая, не роняет иголок. Она усохла, стоит молчаливая, как столб. Я прислонился к стволу плечом, достал блокнот и только собрался записать про первый мороз в лесу, как сосна вздрогнула и загудела. Кто-то часто и звонко колотил над головой колотушкой. Стук дятла в морозном лесу был похож на стук в окошко поздней ночью: такой неожиданный и гулкий, что я непроизвольно отозвался: «Да, да, входите, дверь не заперта. И не стучите, пожалуйста, так громко, хозяйку разбудите».

Но запоздалый путник все барабанил и барабанил, пока не проснулась сорока-хозяйка. Ох, как затрещала! «Что такое? Что такое? Почему не дают покоя?»

«Вот видишь, что ты наделал,— сказал я с укором дятлу.— Зашел бы потихоньку, без стуку, без грома, нашлось бы чем угостить настывшего на морозе путника. А теперь что ж? Теперь нам, брат, и понюхать не дадут».

Дятел сунул клюв в дупло, нащупал там личинку и с удовольствием проглотил. Потом вскрикнул весело и улетел. Его крик я расшифровал так: «Спасибо за приглашение, я сыт». Мне только и оставалось сказать: «Очень жаль. Я так люблю встретить и принять гостя».

...А в самом деле: если ты не рад гостю, то кто будет рад тебе?

ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Что за очарование этот вечерний свет!

Низкое солнце, уходя на покой, обрушило на землю такой ливень теплого, нежного света, что все в нем преобразилось. Ни один лист не шелхнется на березе. Она стоит в поле у дороги, вся от вершины до комля высветлена, просвечена насквозь, ни единого теневого пятнышка. Серая крыша сарая, тесовый фронтон, сани, брошенные с зимы, куча старой соломы, ветхая изгородь —

все необычайно яркое, светлое, теплое, ко всему хочется прикоснуться, потрогать, и в душу входят покой, умиротворение.

Время отдыха усталого тела, час безмятежных размышлений...

...Старость — вечер жизни. Кончилась суета, угасли страстишки, прожитое высветлено теплым светом мудрости. И подводишь итог жизни, как вечерний итог рабочего дня.

НАСТ

Последняя декабрьская неделя выдалась теплая. Температура «плясала» вокруг нуля: ночью ниже, днем чуть выше. Снега подтаивали и садились. Наконец в ночь на субботу небо вызвездило, ударил мороз — и земля остекленела. Куда ни глянешь — в поле, в лес — всюду белое, сверкающее, холодное стекло. Образовался наст — снежная корка. Худо стало человеку и зверю, лесной синице и озимому хлебу.

В лес не ступить: лыжи дерет, как наждаком, а без лыж ломкое стекло не держит. Лоси подпускают совсем близко, нехотя поднимутся с лежки и, ступая медленно, осторожно — наст режет ноги, отойдут немного и опять ложатся. Тревожно перепархивают по опушке синицы. Тонкий ледок покрыл деревья, слабым клювиком не пробить его,



не достать из-под коры, мошку. А уснувшей под снегом озими тяжело дышать: ледяной панцирь не пропускает воздух.

Так и с человеком случается. Была добрая, отзывчивая душа, но покрылась со временем ледяной коркой равнодушия, и худо стало окружающим: ни горем поделиться, ни радость поведать, ни совета спросить. Снежный наст весна растопит, а душевная корка, бывает, на всю жизнь.

СЕРДЦЕВИНА

За зиму нежилая изба сильно настыла. Два часа жег в печи березовые поленья, пока красная ниточка термометра не поднялась к черте «двадцать». Я скинул с плеч шубу — можно садиться к столу и работать. Взял бумагу — холодная, положил руку на столешницу — холодная. Чего бы ни коснулся — от всего исходит холод. Книжки, берестяной чернильный прибор, деревянный подсвечник, ватный матрац, пуховая подушка — все холодное, настывшее.

Печной огонь нагрел воздух, но не вещи. Стужа из вещей не выходит скоро, она держится внутри. Надо топить печь не один день, чтобы тепло дошло до сердцевины вещей.

Я пробую писать — ничего не получается. Нужные слова не приходят, я их позабыл. Они придут, как только оттаяет мое застынувшее в одиночестве сердце.

ВЬЮГА

С утра погода была вялая, словно, разминаясь со сна, гадала: то ли солнцем блеснуть, то ли вьюгой разгуляться.

Я стал на лыжи и отправился в лес. Миновал

поле, березовую опушку и остановился под старыми соснами. Здесь было тихо и уютно, как в чистой, прибранной избе. Наломал сушняка, развел костерок. Бежал по хворосту бездымный огонь, падал просеянный сквозь крону снежок. В вершинах сосен мало-помалу начал зарождаться глухой протяжный шум, и вдруг разом, мгновенно, будто от исполинского удара, сосны дрогнули, сбросили белые шапки и закачались. Лес застонал. Началась суматошная снежная пляска.

Я повернул назад. Перед глазами — ни близкого поля, ни дальней деревни, ни крутого волжского берега, ни неба, ни земли. Была непроглядная, ревущая белая круговерть. Глаза залепило, дыхание сперло. Я сделал шаг вперед, меня отодвинуло назад. «Слабо-бо... бо...» — хохотала вьюга в лицо.

Во мне проснулось забытое. Я пригнулся и мерно, чтобы хватило сил на последний рывок, пошел вперед — так учили нас ходить в атаку.

...Забытое состояние противоборства необузданной силе. Локомотив, самолет, автомобиль преодолевают за нас вьюги и ливни. Мы — пассажиры. Мы — зрители. Не силу мышц и духа испытывает стихия, а надежность железа.

Обретая — теряем.

СВЕТЛЫЕ МЕТЕЛИ

Пошло на вторую половину марта, пора бы ручьям звенеть, а метут метели. Целый день с ровной упругой силой дует ветер и сучит белую пряжу. В десяти шагах не видно дороги, но вокруг удивительно светло. Мириады снежинок несут в себе микроскопические заряды яркого солнечного света, а у самой земли подкрашиваются отражением сиреневых березников, охряно-зеленых сосен, акварельно прозрачных осинников — и получается светлая мартовская метель. К тому же на улице не стыло, не морозно, а по-весеннему тепло, и метель кажется веселой забавой природы.

Застигнутый метелью путник шагает враспашку, шапка сбита на затылок, глаза не жмурит, на лице восторг — поет душа у человека!

Метели принято считать ненастьем. А бывает, что и душу веселят.

СОЛНЕЧНЫЙ БУГОР

Кругом еще белые снега, по ночам с черного звездного неба падают морозы, но в полуденные часы солнце так припекает, что на околице, за санными сараями, вытаял бугорок земли, похожий на лоскут мокрого серого войлока, — наша долгожданная радость.

Засидевшиеся в зимних избах, мы бежим за сараи, с любопытством разглядываем первую сушу, потом, скинув надоевшие валенцы, пробуем ее голыми пятками и визжим от восторга.

День ото дня бугорок поднимается, он словно бы выпирает из белого покрова, снежная кромка спускается все ниже и ниже, завоеванная нами суша ширится — и начинаются потехи в пятнашки, в чехарду, в чижика. Целительная сила оживающей земли через голые наши пятки входит в нас, и мы, ослабшие на скудном зимнем харче, бледные, как ростки картошки, которую матери по утру достают из подвалов, вдруг оживаем, неутомомно носимся по косогору, пока не покличут домой, и мы засыпаем на соломенных постелях, как принцы на пуховиках. Лица наши начинают буреть и шелушиться, головы уже не кружатся от вольного духа, ноги обретают устойчивую упругость, а маленькие сердчишки, по-воробыиному трепыхавшиеся в первый выход, начинают стучать ровно и сильно. Ржаной хлеб да солнечный бугор были вторыми, после материнской груди, нашими кормильцами.

Сколько согнало с той поры снегов, сколько утекло в бурные реки чистой снеговицы, а вид первой вытаявшей земли и сейчас, на склоне лет, наполняет душу и тело живительной силой, и

по-прежнему глядишь на солнечный бугор с надеждой, правда, теперь уже разбавленной легкой, как парок от тающих снегов, грустью.

РЕКА И ЛОЗА

Устье Дёржи заполонил лозняк. Он любит воду и лезет к реке, подвергаясь каждое половодье опасности быть вырванным с корнями. Свирепая вода гнет, стелит, крутит лозу, заваливает бревнами, гниющим тростником, песком. Страшно поглядеть, когда схлынет вода,— таким жалким, растрепанным, измочаленным выглядит кустарник.

Но придет тепло, и молодые побеги потянутся вверх, зазеленеют густо, примут в свою непролазность соловьев, чтобы воспели они торжество жизни. Под соловьиные песни старые, кажется, совсем похороненные под наносом ветки выстрелят к свету, к теплу тысячами новых ростков, которые вымахают за лето до метра в длину,— будто и не бушевала над лозняком осатанелая вода.

Не пробиваемые солнцем кусты хранят от иссушения воду. Без лозы река умерла бы. Без воды не станет жить и лоза. Страдая каждую весну от опустошительного буйства воды, лозняк никогда не вырастает здесь, у самой реки, до размеров дерева. В то же время его собрат, поселившийся чуть повыше, в прибрежном лесу, может перегнуть и березу. Там он ничто не спасает, наоборот, в неутолимой жажде света губит других, чтобы жить самому.

...Не так ли и в человеческой дружбе? Если ты в силах выдержать черные дни размолвки, ссоры, если готов ради друга оставаться «кустом»,— будете сильными оба: и он и ты. А коль потянешься вверх, поднимая других, станешь хоть и деревом, но одиноким, топор судьбы-дровосека непременно изберет тебя, а сухая земля одиночества не напоит твоих корней, и не дадут они побегов.

ОКНА НА ВОСХОД

В избе еще по-ночному темно, а стол у кухонного окна уже высветлился настолько, что можно чистить картошку, затирать оладьи, помыть собранные с вечера огурцы. Небо только намекнуло на рассвет, и любую другую работу делать без света еще нельзя, но готовиться к стряпне можно: окна на восход позволяют.

Сколько я помню себя в детстве, мне никогда не удавалось встать раньше матери. Как бы рано ни проснулся, она уже у стола. Приготовив все, что нужно, она затопляет печь, и тогда уже свет зари вместе с отблесками огня, растолкав по углам остатки ночи, будят всю семью. К тому часу, когда отцу идти на конюшню, а нам в школу, печь истоплена, завтрак готов — никто не задержан.

В деревне о работнике судят не по тому, когда он спать ложится, а по тому, когда встает. А раньше работника всегда встает хозяйка. Для нее-то и ставилась изба так, чтобы кухонное окно смотрело на восход.

Я живу в старой избе, и хотя особой нужды вставать рано у меня нет, все равно подымаюсь чуть свет: будит проникающая в окно заря. Окно передает все, что происходит на небе. Посерело небо — в избе начинает таять ночной сумрак; заалела, запылала заря — розовыми стали печь, стол, посуда на полке; а уж солнце взошло — так все целиком и вкатилось в избу. Не улежишь, не усидишь, руки сами просят работы. О настроении и говорить нечего: любая печаль, неудача, хворь, что мучили с вечера, сейчас забыты, наступающий день встречаешь со светлой надеждой.

Сколько видывал я русских деревень, все они поставлены так: половина окон на восход. А нынче мода пошла иная: деревня застраивается на манер города — поквартально. Тут уж окна куда пришли. Говорят, в век электричества не все ли равно куда окнам смотреть? Так-то оно так, но электричество зажигать приятнее все-таки вечером, а вставать, право, лучше с солнцем. Красивее и полезнее.

Что-то разбудило меня в четыре утра. Оделся. Вышел на улицу. Полная луна стоит в чистом небе. Метель, наработавшись за ночь, улеглась, оставив высокие сугробы. Кругом такая тишина, что речной перекат, не слышный днем, кажется далеким поездом.

Что-то смутное томит меня. Будто работа какая не сделана. Отворяю дверь во двор. Тепло и уютно. Пахнет сеном и дровами. Еще конским потом от хомута и дегтем от сбруи. Но ведь тут, я знаю, никогда не висело ни хомута, ни уздечки. Откуда же запахи?

Это проснулось во мне детство.

Через дверь проникает луна. Я слоняюсь по двору. То доску переставлю, то поправлю выпершее полено. Тянет взять в углу кошель, набить сеном и нести в хлев, положить охапку в ясли и стоять и слушать, как жует скотина, угадывать, глядя на коровьи бока, время отела, подсчитывать овечий приплод и радоваться, что вот, если все будет хорошо, шерсти хватит, чтобы сменить и себе и ребятам валенки, а мяса — и на базар и на приворок.

У меня на дворе пусто, я никогда не водил скотины. Отчего же такое приходит на ум? Это проснулись во мне когда-то слышанные заботы отца.

На моем дворе не пахнет скотиной. Теплый дух я улавливаю от соседского двора. Слышу, как хлопнул сосед дверь, зажег в хлеву свет, ворчит на кого-то. Он делает то, что во мне живет лишь воспоминанием: набивает корзину сеном, несет корове...

Сколько стоять в деревне двору, столько водиться в нем скотине, столько выходить по утрам хозяину и смотреть, и слушать, и предполагать, какой приплод будет к весне. А как выведется на дворе скотина, так и хозяин — не крестьянин.

ПОКОЙ

Рано утром перед восходом солнца деревенская улица полна редчайшим покоем. Еще дремлют сады, молчаливы избы, неподвижна пыль на дороге, стынет под окнами трактор. Все замерло в сладком оцепенении перед готовой вот-вот пробить минутой пробуждения.

И если бы вдруг по какой-то причине минута не пробила, сладкий покой обратился бы в омертвление.

И душе человека, как всему сущему, нужны лишь мгновения покоя. Превратятся мгновения в часы и дни — наступит паралич желаний. Нормальное состояние души — стремление и мятежность.

ОБЖИТОЙ ДОМ

Когда подступает боль, я ложусь и гляжу на стены. Стены моей избы старые, бревна потемнели, в трещины и пазы набилась пыль и спрессовались запахи долгой жизни, что протекла здесь. В углу висит пучок травы-душицы, в вазе на столе — ветка вереса, от печки веет теплым кирпичом и березовым углем, пять свечей в подсвечнике, которые я держу на случай отключения электричества, источают аромат растопленного пламенем воска. Пахнут вещи, пахнет мытый с речным песком пол, пахнет куртка, в которой я хожу в лес, сквозь окна пахнет цветущей яблоней с сада и вспаханным полем из-за реки. Запахи сменяют один другой, много лет они повторяются, но не уходят совсем, их вбирают, впитывают старые стены, хранят в щелях и пазах, и сейчас, в минуты тяжелой боли, отдают мне, и я обостренным до чрезвычайности обонянием ловлю их, как эликсир, и чувствую, как выравнивается сбившееся с ритма сердце, сильнее в жилах ток крови, и

проясненным умом понимаю, что действительно в родной избе и стены лечат.

Новый дом — еще не дом. Вот когда стены вберут в себя запахи нашей жизни, когда скажем: дом обжитой, тогда способен он будет исцелять и тело и душу. Новый дом — всего лишь надежда, старый — целительная память.

АПТЕКА У КРЫЛЬЦА

В десяти шагах от моего крыльца старая печина. Изба сгорела в войну, хозяин построился на новом месте, а печину заселил бурьян. Я взял косу и собрался скосить. Идет соседка, бабка Маня, и говорит:

— На сердце жалишься, а лекарство губишь! Гляди, сколь пустырника тут, — и показала мне пустырник, из которого сердечные капли делают.

Вечером друг приехал, директор совхоза.

— Великолепный запах! Медовик. Уж не пчел ли завел?

Я кивнул на высокие желтые цветы. Он воскликнул:

— Дикая редька. Смотри, какое богатство! В детстве, бывало, лакомились.

Пошел на печину, срезал ствол, очистил — попробуй, говорит. Попробовал — вкусно. Тогда и я полез в бурьян, заполнивший старую печину. Белый донник увидел, дикий тмин, кипрей, репейник, ромашку пахучую, крапиву, полынь горькую, подорожник, хмель и в завершение куст винной ягоды ирги. Какое растение ни возьми — лекарственное! Настоящая аптека у крыльца.

Подумал: недаром же бурьян лезет к жилью, это природа заботится о высшем своем творении — человеке. А я, неразумный, что хотел сделать — скосить?

Мы так много говорим о любви к природе, что забываем: любовь — это прежде всего знание.

СТАРАЯ ИВА

В двадцати шагах от дома росла старая, в три обхвата ива. Она посажена была, наверно, в те времена, когда зачиналась деревня Усть-Дёржа. Не берусь сказать, сколько это лет назад, но знаю, что очень давно.

Под ее широченной кроной, как под крышей, хозяин распрягал коня и оставлял телегу с поклажей — знал: никакой дождь не промочит.

На ее толстом суку висела качель-люлька, в которой семилетняя нянька баюкала своего горластого братика. Убаюкав, бежала к реке полоскать пеленки, а заодно и покупаться, пока тенистая ива скворчиными песнями и шепотом листвы навевала на братика сон.

Могучая крона дерева, не пробиваемая ветром, когда он, как в трубу, дул вдоль междуречной долины, защищала соломенную крышу от его необузданной силы.

Долго служила друг-ива человеку. Но однажды разбушевалась гроза и молния разбила дерево. Рана — обугленный расщеп от вершины до комля — оказалась смертельной: ива усыхала. И год и два еще боролась она со смертью, но не в силах была одолеть ополчившихся на нее врагов: ломались под ветром сучья, гниль от дождей завязалась под корой, морозы рвали насыщенную влагой древесину. Ветреной ночью деревню разбудил тяжкий грохот: ива свалилась.

Но остался высокий, в два человеческих роста, пень с полоской живой коры. По весне набухла на лоскутке коры почка, лопнула, распустилась и пошла тонким побегом вверх. Рядом пробирался еще один. Побегу раскустились — и вот уже легла на дорогу не мертвая пневая тень, а живая, трепещущая, с солнечными бликами зеленая прохлада.

ОКОЛИЦА

В лес я хожу так: либо через огород на зады деревни, либо улицей на околицу. Оба пути интересны: на задах живет таинственность, на околице — грусть.

Березовая роща подступила к самым дворам. Под березами — сенные сараи, стожки соломы. За сараями заросли бузины и пустырника. В гуще кустов и трав есть чистые, мягкие «пяточки» — сюда по весне, когда чистят сарай, выкидывают сениную труху. Летом тут тень и прохлада, осенью тепло и уютно. Для ребят, когда появятся у них свои секреты или когда обида выгонит из дому, нет лучшего места для уединения.

...Качаются метелки трав, ходят тени облаков, сердито урчит невидимый шмель, пробирается в заросли, таясь от хозяйки, курица. Воображение ребенка превращает все это в дикие джунгли, а себя, изгнанного из дома обидой, — в одинокого путника. Много дорог исходит по земле путник, немало дел великих сотворит и, увенчанный звонкой славой, пожилой и усталый, возвратится домой. Возвратится и никого не застанет: всех унесло время. Вот как захочется ему поменять свои подвиги на один-единственный шлепок материнской ладони, но, увы, поменять нельзя. Забыв обиду, вскакивает мальчонка, вырывается из душных зарослей и мчится в избу, чтобы услышать желанное: «Где тебя носит? Садись за стол, неслух окаянный...»

В таинственных зарослях на задах деревни живет наше детство.

Околица вызывает другие чувства. Околица — место расставаний и начало дальних дорог.

Всех нас провожали матери. Помните? Остались позади избы, вербы у пруда, неподвижная печальная фигурка. Обернешься, махнешь рукой — и пойдешь, ограждаемый от бед материнской молитвой.

Околица — это оставление привычного, маленького ради неизвестного и большого. Это — неизбежное в жизни каждого, кто родился в деревне. И оттого, что оно неизбежно, что живешь ожиданием своего часа, все, что окружает тебя, кажется неин-

тересным и скучным. Но пройдут годы, вкусишь сладостей жизни и почувствуешь ни с чем не сравнимую грусть по деревенской околице. Станет она сниться по ночам. С нетерпением и жадностью начнешь вглядываться в незнакомые деревни. Где-нибудь на ночном полустанке запах печного дыма разбудит в памяти забытое, и тогда все, что считал когда-то неинтересным и скучным, станет вдруг таким желанным, что неодолимая сила потянет к родным берегам. Бросишь все и приедешь. Приедешь и, как потерянное счастье, станешь искать следы той, которая провожала тебя за околицу.

За деревней, на поросших ромашкой росстанях, живут надежда и грусть.

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК

Нашу маленькую Усть-Дёржу заезжие художники считают самой красивой деревней в округе. Один назвал ее даже ландшафтным парком и спросил, кто это все так устроил. «Да никто,— сказал я.— Природа».

А как-то понадобилось мне изучить основы паркового искусства, взял учебник и, чем дальше читал, тем больше убеждался: да, все элементы ландшафтного парка у нас налицо. Вот древесные массивы, один — по берегу Дёржи — с характером смешанных естественных насаждений, другой — за дворами — однородный с характером редин. Вот пейзажные группы, вот одиночные деревья — солитеры, вот аллея, кустарники, цветы. Солитеры эффектно подчеркивают вертикали, а группы создают перспективу. Соблюдено и правило колорита. Темная хвоя сосен, белые стволы берез, серебристая листва ив, цветочные пятна палисадов и луговин — все гармонично, ничто не диссонирует, не режет глаз. Осенью прибавится золота берез, багрянца осин, бордово загорятся вишни и ирга, вспыхнут на фоне зеленой отавы поздние георгины и мальвы — ну чем не парк!

Поглядев на деревню новыми глазами, я понял, что не одна природа все это сотворила, а вкупе с

человеком. Березы у дворов он посадил, сады вырастил, палисадники засеял, а рощу проредил, пожни аккуратно выкосил, не дав кустам разрастись. И все это в меру, с чувством, с любовью. Теперь меня никакими доводами не убедишь, что создание парков — привилегия архитекторов. Люди, бывает, такое создадут — любой специалист подивится!

НАШИ ГОРЫ

Не Урал у нас, не Кавказ, а Среднерусская возвышенность. Значит — холмы, сотки, гряды. А мы говорим — горы.

Отчего бы так?

Дед Михаила, сосед мой, как-то сказал:

— А гора-то, понимаешь, поменьшела. Бывало, шагом насилу подымешься, а теперь — хоть вскачь. Стареем матушка!

Я тоже помню гору за своей деревней. Ветрянка на ней стояла. А недавно побывал на родине, поглядел: да где же гора-то? На ровном месте рожь волнуется. А все равно говорят: «Нынче на горе рожь дивно хороша!»

Вот такие наши горы. Проживешь свой век, заметишь, что и гора твоя «поменьшела», скажешь, как доброй спутнице: «Стареем, матушка». Это совсем не то, когда высится над тобой вечной недосыгаемостью каменная громадина.

Наши горы добрее к человеку: вместе с нами старятся. За то и уважение им.

РОДНИЧОК

Из-под каменистого берега Дёржи бьет родник. В том месте река не заиливается, не зарастает и образует омут. Уже, наверно, сотню лет жители Усть-Дёржи берут из омута воду, а обнажить родничок почему-то не додумались.

Вскрыли его приезжие охотники. Вырыли лун-

ку, очистили от песка, обложили камнем. Родничок наполнил лунку и потек, как прежде, в реку. Теперь черпают воду из лунки, как из колодца.

Я бывал на Кавказе и видел в горах родники. Их находят по росяной влажности на скалах: скалу прорубают, выводят родник наружу, из камней у тропы выкладывают колодец. Любой путник может утолить жажду. Родник в горах называют именем человека, открывшего его.

В наших местах воды много, родники не в таком почете. Но все-таки, коль нашелся добрый человек и обнажил родник, люди проложат к роднику тропу. Потом непременно припишут воде чудодейственные свойства.

Я спускался к роднику с ведром. Женщина из приезжих спрашивает:

— Говорят, эта вода целебная. Правда?

— Должно быть,— сказал я.— Из всякого родника вода целебная.

— Да?

— Конечно. Хотя бы своей чистотой.

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ

Вдоль березовой опушки рядом выстроились молодые сосенки. Сто раз ходил мимо — внимания не обращал. А тут что-то заставило взглянуться. Две верхние мутовки были довольно длинные, а третья — пониже — совсем коротенькая.

Присмотрелся к одной сосенке, к другой, прошел по всему ряду — та же картина. Значит, три года назад, то есть в 1973 году, лето было неблагоприятное для их роста. Но чем? Хорошо помню, что в том году и дожди шли и солнце пекло — хлеба были неплохие. Вот семьдесят второй — да-а! Сушь стояла такая, что леса загорались от бутылочной стеклянки. Выходит, не в сухой год сосны росли плохо, а в последующий.

Тогда я подошел к одинокой елочке на поляне и сосчитал, сколько ей лет. Вышло — десять. Линейки у меня не было, я стал измерять годич-

ные побеги шариковой ручкой. Получилось вот что (исчисление веду сверху вниз, то есть от семьдесят пятого года назад): одна ручка, полторы, полручки, две, одна с четвертью, одна, одна с третью, одна, полторы. Как видите, в страшную сушь елочка росла быстрее всего: две ручки.

Меня это очень заинтересовало. Я пошел по лесу, и какая ни попадалась на пути елка или сосна, у каждой спрашивал: «Расскажи, как ты росла в високосном году?» Абсолютное большинство лесных жительниц отвечало: «Быстрее, чем в последующем».

Ученые писали, что в високосном семьдесят втором году на Солнце было много пятен. Не они ли помогли деревьям расти быстрее?

Вот как получается: кажется, уж куда как хорошо знаем лес, а шаг шагнешь — обязательно с загадкой встретишься.

КАК СОЛДАТЫ ЯБЛОКИ ЕЛИ

В нашей деревне все избы в яблонях. Только яблоки с них невкусные, не всякое и в рот возьмешь.

Бабка Аксинья рассказала мне историю яблонь.

Вернулись после войны солдатики с ребятами на пепелище, кое-как обстроились, а когда крыша над головой появилась, человек о красоте думать начинает — сад сажает. Но где в то время культурную яблоню было взять? Пошли в лес, накопили дичков.

Дички на траншеях росли. Очень дивно росли — кругами. Видно, сидели солдаты кружком, яблоки ели, семена обронили — так и выросли яблоньки, повторив солдатский круг. Их и перенесли женщины в деревню, обсадили избы.

И хотя теперь совсем просто заменить дички — поехал на базар, покупай какую хочешь, — никто их не вырубают: очень буйно и красиво цветут весной лесные яблони. Но я думаю, не из-за одной красоты щадят жители Усть-Дёржи дикарок, а по какой-то другой причине. Может быть, яблони им кого-то напоминают.

СТАРАЯ ЛОШАДЬ

На берегу Дёржи стоит заброшенная, с просевшей крышей конюшня. В конюшне доживает век старый мерин.

Мерин свое отработал и за ненадобностью в хозяйстве отдан почтальону. По санной дороге почтальон развозит посылки и газеты, а в весеннюю распутицу ходит пешком — щадит старую лошадь.

Долгими зимними ночами в продуваемой насквозь конюшне холодно и тоскливо. Лошадь жмется в угол, дрожит и вяло перетирает стертыми зубами грубое сено. Изредка подымет голову и слушает, как, проламывая наст, идут в ивняк на кормежку лоси.

На взгорке в трехстах шагах от конюшни — небольшая, в четыре дома, деревня. На столбе перед колодцем висит электрический фонарь. Его зажигают, когда ходят по воду. По белому зареву, которое проникает в пустые окна конюшни, лошадь догадывается о близком рассвете, покидает угол и подходит к дощатым воротам. Мерин встречает хозяина, просится в оглобли — там, на дороге, у коновязи перед почтой, он увидит молодых коней, лохматых дворняжек, крикливых галок... Мерину хочется видеть живой мир.

...Старость пугает не годами, а одиночеством.

ЗАРЕЧНАЯ ДАЛЬ

Усть-Дёржа окружена лесом, и только междуречная долина — словно распахнутые в мир ворота. Там, в конце долины, проходит шоссе, пыльные шлейфы волочатся за машинами и видны мне из окна.

Заречная даль весь день подернута синей дымкой. Оттуда приходят облака и кропят сухую землю дождем, но настоящего ливня, которого так просит земля, все нет и нет.

Оттуда ко мне приезжают редкие друзья, но

настоящий друг, которого я так жду, все не едет. Он очень далеко, шлет коротенькие письма, но они для истомленной души все равно что мимолетный дождик на сухую землю — прибьет пыль, смочит листья, а корни не напоит. Душа, как иссохшая земля, жаждет встречи — ливня.

Каждое утро я подолгу гляжу в заречную даль. Когда прожита большая часть жизни, ничего нет желаннее, чем встреча с другом. Горе человеку, если на склоне лет ему некого ждать.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ

Сегодня я взял часы, чтобы засечь восход солнца. Точнее, сосчитать, за какое время выкатится оно из-за горизонта.

Остановился на горе и смотрю на далекий заволжский лес, который ровной каймой отделил небо от земли. Горизонт в легком мареве. Но вот повыше леса стало набухать малиновое пятно, словно там, на небе, зрела громадная ягода.



Тонким лезвием вспыхнул и засверкал след невидимого самолета. Солнце приближалось.

Шесть часов пятьдесят одна минута тридцать секунд. Из-за леса показалась оранжевая точка. Ровно через минуту точка превратилась в горбушку теплого, только что вынутого из печки каравай. Еще минута... Из горбушки вырисовалась крутоскатная крыша, крашенная ярким суриком. Секундная стрелка обегает третий круг. На небе классической формы репа из сказки про дедку и репку. Еще через минуту солнце вылезло целиком, но какое-то приплюснутое, похоже на раскаленную поковку, по которой ударили молотом. Прошло ровно четыре минуты.

И в этот миг я ощутил на лице ветер. Не легкий речной бриз, а сильный, упругий напор воздушной толщи: ведь я вместе с Землей мчусь навстречу Солнцу. За четыре минуты, не сдвинувшись с горы ни на шаг, я пролетел добрую сотню верст. Вот когда до меня дошло, что живем мы, в сущности, на крохотной планете.

Наших предков пугала громадность мира, нас пугает его малость.


ИВЫ И ХУДОЖНИК

Вдоль улицы Усть-Дёржи растут старые черные ивы. Долгое время не замечал я в них ничего особенного.

Но вот приехал ко мне художник и первое, что взялся рисовать,— это старые ивы. С его этюдов и глянула скрытая краса могучих деревьев. Толстые, наклоненные к дороге стволы, четкий узор мелких ветвей создавали певучий торжественный ритму, и, подчиняясь этому ритму, березы на придворках, береговые сосны, сады, палисадники, избы, дорога организовались в нечто единое и неповторимое, что и составляет очарование нашей маленькой деревеньки.

Понадобилось особое зрение художника, чтобы обнажить то, чего не замечал обыкновенный глаз.

ОЧИЩЕНИЕ


 Есть лет назад я посадил вокруг дома деревца: березы, липки, дубок. Они подросли, и сегодня ранним мартовским утром поразили неожиданной своей красотой — деревца светились необыкновенно тонкими и чистыми красками.

У липок густота тона начиналась от земли. Внизу стволы — темно-коричневые, к середине светлели, и самые верхние ветки были уже ярко-желтые с малой примесью охры. Каждую веточку венчал темный шарик — еще не сбросившая зимнее одеяльце почка. Березы светились иначе: снизу — белые с едва заметным сероватым оттенком, выше — белый цвет переходил в буровато-красный, а наверху, в тонких ветвях, стояло нежное сиреневое облачко. Я посмотрел на дубок, потом на яблоню-лещугу, на куст сирени и увидел, что и они сияют, словно вымытые, каждое своим неповторимым цветом. Откуда у мартовских деревьев такие чудесные краски?

А с зимы. Мороз убил осеннюю плесень, вьюги сдули паутину, секущая снежная крупа обила лишайник, и стоило пригреть солнцу, как обновленные деревья засветились.

Вот уж действительно — очищение невзгодами.

КРЫЛЬЦО

 крыльцо — это не просто лесенка на порог.

Мой сосед пришел с поля — он рожь сеял, сидит на ступеньке, выбивает из портянок пыль и говорит, глядя на ласточек:

— Тут еще, не улетели. Значит, постоит тепло. Отсеемся.

Утром, обуваясь на крыльце, он туман наблюдает:

— Легко поднимается — ведро сулит...

Второй сосед часто по делам отлучается из деревни. Когда возвращается, ставит чемоданчик

у крыльца, садится на приступок — отдыхает с дороги.

— Чего в избу нейдешь, сиротина? — смеется жена.

А он говорит:

— Не надышусь. Нет в других краях такого воздуха, как наш...

Старая Авдотья сидит на крыльце день-деньской. Все, что делается на улице, она видит и обсуждает:

— Племянник у Марьи без стыда растет. Мимо чужой яблони не пройдет, чтобы карманы не набить! А жизнь большая, много чего к рукам прилипнет.

Слово — не смола, под рукомойником не отмоешь. Долго Марьиному племяннику надо будет чиститься перед деревней, чтобы худая молва по следу не пошла.

Многообразна служба крыльца. Потому и делают их одно другого искуснее. А если б только на порог взойти, так и стараться не стали бы.

Если в деревне изба без крыльца, значит, не крестьянин в ней живет — постоялец.

ГАЛКА-ЩЕГОЛИХА

Я косил в огороде траву. Прилетела галка червяков собирать. Не галка, а настоящая щеголиха! Тонкие длинные ноги в черных чулках расставляет широко, точь-в-точь девица из журнала мод. На шее по черному глухому платью — серая пуховая шаль.

По выкошенной пожне галка ступает, высоко поднимая ноги, — колко! Червяка увидела, долбанула клювом. К червяку травинка прилипла. Галка червяка положила на землю, лапкой на травинку наступила — и грациозно проглотила. Повела на меня бусинкой глаза: хороша ли? Я усмехнулся: хороша! И подумал: каждое существо природа одарила грацией. А всего больше — человека. Но истинно красив он лишь тогда, когда естествен.

СОРОКА И ЕЖИК

Ежик-годовичок торопился домой. Он живет у меня во дворе, ночью ходил на добычу да задержался, и на полпути его перехватила сорока. Длинным, острым, как долото, клювом сорока норовила попасть ежику в голову. Он сворачивался клубком, а сорока затаивалась и выжидала. Стоило ежику побежать, как разбойница настигала его бесшумным прыжком и отщипывала с головы шматок кожи. Окровавленный ежик добежал уже до калитки, когда к первой сороке присоединились еще две и окружили жертву.

Еще не разглядев, чем они занимаются, я любовался из окна стройными, чуткими, стремительными птицами. Но тут заметил ежика и выбежал на улицу. Я взял его на руки, вся мордочка была расклевана, на красном голом черепе чудом уцелели две черные бусинки — глаза. Я не знал, как помочь ежику, держал его на руках и с сожалением думал, что в природе не одна лишь красота и гармония, в природе — жестокость. Но вот что примечательно: все живое, попавшее в беду, жметесь к человеку, у него ищет помощи и защиты. И это, я думаю, потому, что только он, единственное из живых существ, наделен милосердием.

МАЛАЯ МАЛОСТЬ

Понадобилось во дворе сменить столб-подпорку, я пошел в лес и срубил сухостоину. Живое дерево пожалел рубить, вокруг сухостоя много было.

Принес бревнушку домой, соскреб кору, потом рубанком прошелся — снял синюю с прожилками заболонь. Открылось розовое тело сосны. Отшлифовал наждачной бумагой, и древесина, как говорят столяры, заиграла всей своей фактурой.

И вот, когда я всю эту работу проделал, почувствовал, что во дворе резко пахнет скипида-

ром. Запах исходил от смолистого комля. Комель весь был прослоен сухой, как янтарь, смолой. Выпростал я ее рубанком, она и дала о себе знать.

Отпилил от комля тонкий кружок, принес в избу и положил на стол. Когда сажусь за бумаги, вдыхаю запах смолистого кружочка и представляю, что за окном не голый зимний сад, а разогретый жарким солнцем бор. И понимаю, почему сосновые избы в деревне не оклеивают, не оштукатуривают: воздух от дерева здоровый.

Даже малой малостью своей лечит нас доктор Лес.

ПЛАТОК-УЗЕЛОК

Бабка Груня ходит за три километра в лавку без авоськи. Она складывает покупки в головной платок, концы связывает узлом, под узел просовывает посошок, на плечо — и пошла.

Я думал, привычка такая у старых людей, а она говорит: удобнее. Попробовал сам — и правда, ни с какой самой модной сумкой не сравнишь. Вспомнил, а ведь всегда русская женщина предпочитала платок-узелок всяким плетенкам. На ярмарку, в дорогу, в поле на работу — всегда с платком. Не нужен — на голове, на плечах, а надо что-нибудь положить — развернула, связала — готов узелок.

Удобная вещь платок! Но вот несу булку-батон да сахару кулек в платке-узелке и чувствую себя... чужаком. Руке удобно, душе неловко. Неужто новые вещи обладают такой силой, что моде в угоду мы готовы отказаться от собственного лица?

ТЕПЛЫЕ ПОЛЯНКИ

После затяжных дождей отраднo увидеть, как на чистое вечернее небо из-за позолоченного березника выкатывается полная белая луна, а следом за ней высыпает рой мерцающих

звезд. Я выхожу на улицу, жду, пока луна поднимется повыше, выстелит дорогу ковром из прозрачных теней, и неспешно, выбирая куда поставить ногу, чтобы не нарушить шуршащим листом хрупкой тишины, иду за околицу. Там под большими одинокими березами есть маленькие полянки, чистые и теплые, словно праздничные избы. Реденькая травка пригнулась, обитый дождями лист лежит ровным слоем, матовая белизна ствола чуть подсвечивает багряный круг, а за кругом, как будто за окном, над сжатым полем, над густым лесом, над тусклой дорогой зыбким морем разлит белый лунный свет.

Я стою на теплой полянке, прислонившись к березе, гляжу на ставшие вдруг таким незнакомым мир, и мною овладевает позабытое чувство первых открытий. Мне кажется, я, еще не изведавший дорог, не познавший страстей, стою у окна в родной избе и неопытным умом стараюсь постичь, что там, за полем, за лесом, за дорогой. Меня влекут лунные дали, как некогда влекли солнечные. Исчезает ощущение прожитости жизни, хочется все испытывать, все познать, всему научиться сызнова. Я знаю, прожить свои годы вновь нельзя, но испытать чувство, будто только начинаешь жить, можно, надо лишь дожидаться сентябрьского полнолуния и сходить за околицу на чистую теплую полянку под старой одинокой березой.

РЕКИ — СОСУДЫ ЗЕМЛИ

Каждый день хожу на родник и не перестаю дивиться нашей Дёрже. Крохотная речонка, а прорубила такую гору: правый берег — каменная отвесная стена семиметровой высоты! В какие же времена так ярилась река? Сейчас ведь даже в бурное половодье не поднимается выше второй террасы.

— То сейчас,— говорит бабка Аграфена, пришедшая к роднику с двумя бидончиками на коромысле.— На моей памяти на шести верстах шесть мельниц стояло. Зато и рыба была. А ты

махаешь день удилищем, а намахал ли кошке на уху?

На шести верстах шесть мельниц. Да леса стояли дремучие. Да болота в лесах непроходимые, неиссякаемые. Вот и вода была. Нынче мой сосед, школьник Женька, в цинковом корыте плавает. Сам в корыте сидит, а ногами по дну перебирает...

Реки — сосуды Земли. Можно ли говорить о здоровом теле, если сморщились сосуды и иссыкает в них ток крови?

Человек без пищи может жить пять недель, а без воды пять дней. А той воды, что пьют, на планете только два процента, и течет эта крохотная капля, питающая человечество, такими вот речками.

НЕБРЕЖНОСТЬ

Зимой дровосек нарубил дров и приехал за ними на тракторе. Грузеная машина лезла из березника напролом, повалила, распласталась две березы.

Березы не умерли, часть корней осталась в земле и питала почки. Весной березы зазеленели, и вот уже второе лето, идя тропинкой в лес, я перешагиваю через них и всякий раз чувствую какую-то вину перед лежащими зелеными деревьями. Мне приходит на ум странное сравнение: березы похожи на раненых, оставшихся после боя. Товарищи ушли вперед, санитары где-то задержались, раненые не в силах подняться, все ждут и ждут...

Небрежность, какой бы пустяковой с виду ни казалась, всегда кого-то ранит.

ДУБОК ДЕДА МИХАЙЛЫ

На нашей улице растет высокий старый тополь. Весной по деревне распространяется удивительный запах лопнувших тополевых почек. Если их собрать и сделать настой — нет лучшего средства для заживления ран.

Как-то я спросил у бабки Груни, сколько тополя лет и кто его посадил. Она сказала, что тополь посажен ее деверем перед уходом на германскую войну. Значит, было это в четырнадцатом году, и тополь, следовательно, же за шестьдесят, а простоит он еще долго.

Человека нет, а добрая память о нем живет.

Дед Михайла говорит мне:

— Вот я нынче дубок посадил, погляди.

И ведет меня на старую печину, где когда-то стояла изба его отца, где он родился, откуда пошел в подпаски, пошел в люди. Рядом с кустом бузины, под сенью березы, он посадил дубок.

— Смотри, какой кудрявенький. Уже распустился. Будет жить. Дубы растут медленно, но долго живут.

Я говорю:

— Да, долго. Очень долго. В Ленинграде я видел дуб, посаженный Петром Первым. А под Молодечно мне показывали однажды дуб, под которым, по преданию, обедал Наполеон.

— Во-о-на,— качает головой дед Михайла.

— А на речке Чернушке,— продолжаю я,— тоже видел дубы. Знаете, где речка Чернушка? Это там, где погиб Матросов. На том месте памятник стоит, а немного поодаль, на краю поляны,— дуб. Сильное, могучее дерево. Я, когда стоял у памятника, все смотрел на дуб. Знаете, мне хотелось у него расспросить, ведь он видел тот бой. Он видел, как солдат кинулся на пулемет.

— Да-а,— произносит дед Михайла,— если бы деревья могли рассказывать...

Если бы могли... Вырастет и этот, у которого мы сейчас стоим. Он переживет нас. Но я верю, что кто-нибудь да остановится перед ним и захочет просить, кто посадил этот дуб.

Если бы деревья могли говорить, они рассказали бы о человеческой жизни.

ПРИБРЕЖНЫЕ СОСНЫ

Правый берег Дёржи, крутой, обрывистый, будто стена, сложен из известняковых плит. На скудной почве, прикрывшей каменный монолит, выросли сосны. Крайние, запустив корни в расщелины, стоят над самым обрывом и, кажется, вот-вот упадут.

Так кажется, когда идешь нижней тропой, по-над самой водой. А пройдешь верхней, лесной, — иное предстанет глазу. Эта тропа — сплошное плетение из крепких, как железо, корней. За десятки метров протянули их сюда, распластали по земле прибрежные сосны и потому не боятся ветров-лесоломов.

СОСНА НА КРУЧЕ

На самом гребне береговой кручи стоит сосна. Все ветви ее протянулись на юг, в сторону реки, и образовали густой полог. В дождь можно стоять под кручей, не боясь промокнуть.

Сосна очень старая, ствол ее покрыт толстой морщинистой корой. Рыболовы вырезают куски сухой коры на поплавки.

Тяжко подниматься от родника по круче с коромыслом на плечах. К стволу сосны прикрепили жердь-поручень, рукой подтягиваешься — вроде и груз легче.

Сосна некрасива: корявая, разлапистая, один бок совсем голый. По сравнению с молодой березой, что стоит по соседству, она просто урод. Но под красавицей березой тропинки нет: незачем к ней людям ходить. Тропинку люди проложили к сосне-уроду.

Стало быть, одной красы мало, чтобы в почете жить.

ИСПЫТАНИЕ ВОЛЕЙ

Пробираясь молодым ельником, я увидел белую радугу — несколько тонких берез выгибались над ельником живописными арками. То ли медведь тут дуги гнул, то ли лесник-художник тропу благоустроил. Но за ельником открылась целая поляна белых арок — красивая и печальная. В жалобной молитве никли березы вершинами к земле.

То была прошлогодняя вырубка. Вырубив рощу, дровосек оставил деревья постройней в расчете, что вырастут они и осеменят в свое время поляну. Но одиночки не выдержали испытания волей. Стояли густо — было тесно, давя друг друга, рвались к солнцу, а теперь вот, получив и солнце и простор, согнулись и поникли.

ГУМЕННИКИ

На гуменниках в траве едва угадывалась дорога. Проходя как-то по ней, я обратил внимание на глубокие ямы, выложенные колотым камнем. Тут были когда-то риги.

Ямы привлекли внимание тем, что росли из них деревья, притом совершенно разные. Из одной вылезла на свет и разрослась дикая яблоня, над другой расселась густая черемуха, над третьей красовалась кипарисовой стройности рябина, а из четвертой выгнулась дугой верба. Кто сотворил такое чудо? Ведь не сажали же деревья специально? Риги сгорели в войну, это я знаю доподлинно, и гуменники были предоставлены природе. Выходит, сама природа распорядилась, где что посеять.

Так-то оно так. Но мне хотелось верить, что не вслепую похозяйничала тут природа, а каким-то непостижимым образом учла она характер каждого мужика-хозяина и посеяла в память одного яблоню, в память другого черемуху... Не на один же аршин были скроены русские мужики.

НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ

Открыл старый блокнот — в нем давние записи. Читаю и дивлюсь: как ново! За окном — весна, и в блокноте — весна. Нынешняя и давнишняя. Все так же зеленеют пожни, одевается лес, половодье спало, после коротких холодов потеплело, а пишу я все это уже другими словами.

Слово — запечатленное чувство. Значит, тогда я чувствовал весну иначе. Полста весен — и ни одной похожей. Пиши каждую — не повторишься. Выходит, природа неисчерпаема. Неповторимы и чувства. Вот почему, читая старые книги, люди вечно дивятся их... новизне.

ЕДИНСТВО

Солнечный мартовский полдень. Клева нет. Я открываю взгляд от поплавок, осматриваюсь и... замечаю весну.

С монотонным перекатным шумом несется мимо меня река. Выточенные волной и отшлифованные ветром каменные глыбы отвесного берега глядят на суетливые речные круговерти взором мудрых старцев. В полузатопленные кусты нанесло пахнущей йодом тростниковой крошки, перед кустами — пышное руно из белой пены. Волна плещет о кусты, дробится, пробегает под пенными шубами, руно шевелится, словно и впрямь пасется на реке отара. Сверху, с протянутых над кручей сосновых лап, сыплут звонкие песни зяблики. Пары будто спянных лягушек замерли в истоме у кромки воды. Из-под одеревенелых серых стеблей репейника выбиваются острые шилья вызывающе зеленого пырея...

Все рядом, все вместе: покой и движение, смерть и рождение. Это единство и есть жизнь.

МОЛОДИК НАРОДИЛСЯ...

Двенадцать дней в апреле стояла небывало теплая погода. На тринадцатый загремел гром, пошел дождь и к вечеру заходило. Ночью в просторном волжском разливе купался тоненький серпик луны.

— Молодик родился, — говорила, бывало, мать, входя вечером с улицы в избу. Всякий раз она произносила это с каким-то особенным выражением: то облегченно-радостно, если надоедали затянувшиеся холода, то озабоченно-тревожно, если грозили заморозки. Неизменным в голосе было ожидание перемен, которое передавалось и нам, ребятам. Укладываясь спать, мы гадали, что-то принесет нам новое утро.

И сейчас, увидев на вечернем небе перевернутый серпик, я испытываю все то же ощущение надежды и ожидания, только окрашено оно легкой грустью.

Детство — это такая страна сокровищ, ходить в которую человек не устанет до конца своих дней.

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ

Еще вечером я любовался сиреневыми березниками, а утром словно кто подменил их, вместо сиреневых насажал зеленых, светлых, веселых, радостных.

Я пошел в березник искать разгадку. Было вот что: апрель не баловал теплом, и почки берез хотя и набухли от земного сока и лопнули, но долго не развертывались. Листочки чуть-чуть выглянули на свет, а вылезать побоялись: холодно. Они ведь совсем крохотные и очень нежные. Притаились и ждут тепла. А поскольку почки у берез светло-коричневые, ветки красноватые, стволы белые в темную крапинку, то все эти цвета, смешиваясь, и делают березники сиреневыми.

Но вот с утра подул упругий южный ветер, очистил небо от серых туч. К вечеру выкатилась

полная белая луна. Волга подняла высокий густой туман, как будто разом задымила тысяча печных труб. Пришла теплая светлая ночь и начала колдовать. Она шепнула притаившимся листочкам одно слово: «Пора!» И листочки не вылезли, не выскочили, а прямо-таки рванулись и, перегоняя друг дружку, начали расти так быстро, что к утру были уже размером с копейку, и цвет их, веселый, радостный, нежно-зеленый, забил все остальные — березники обновились.

Так волшебница-ночь перекрасила землю. Случилось это на второе мая. А тремя днями позже, когда выпала первая роса, запел соловей.

МАЙСКОЕ НЕНАСТЬЕ

Вечер был дивно хорош. С утра прошел дождь, днем разогрело — и к вечеру буйно, прямо на глазах зазеленели пожни, старое клеверище, березовый перелесок, и на Дёрже запели соловьи. Все радовалось теплу.

А на переломе ночи задождило по-осеннему. Монотонно, зябко шумело по крыше, рассветало долго и лениво, и весь день был серый, ветренный, тоскливый. Грязные, рваные тучи ползли с севера, равнодушно сеяли мелкий холодный дождь.

Ненастило два дня, а на третий в тучах открылись лазурные окна, солнце тотчас кидало в них лучи — в каждое окно по золотому снопу — и, доставая до земли, зажигало на ней летучие зеленые костры.

Майское ненастье, как наши печали в молодости, недолго и не удручает.

ОТЧЕГО ВЕРСТЫ РАЗНЫЕ

Есть таинственное очарование полевых дорог. Кажется, будто наделены дороги чувствами.

Сколько пройдено их в жизни! И удивительно:



по какой бы ни шел, на любой встретишь знакомые повороты, спуски, пригорки. Глядишь и думаешь: я тут уже бывал, хотя уверен, что идешь впервые.

Похожесть полевых дорог объясняется тем, что проложены они мужиками-крестьянами, а крестьянин умел беречь добрую пахотную землю и чувство свое к земле вложил в дорогу.

Еще мне представляется, что на полевках постоянно лежит низкий солнечный свет, и перечерчены они спокойными тенями от деревьев, кустов, от серых придорожных валунов. Это оттого, что проселками ходим обычно на восходе и закате. Утром из дому, вечером — домой, а время это — лучшее для размышлений.

Но вот одной странности я долго не мог найти объяснения. На войне, в походах, мы справлялись у встречных женщин: сколько верст до такой-то деревни? Одна скажет: недалече; версты три. Спустя полчаса вторая уточнит: да версты четыре, не меньше. Сильно дивились мы, солдаты, таким верстам. И только сейчас я понял, почему у полевых дорог неодинаковые версты: ходили по ним люди в разном настроении. С радостью спешил человек — дорога короче была, с горем шел — длиннее. Из похода домой возвращался — время не заметил, из дому в неведомое уходил — минута часом показалась.

Полевая верста не метром мерена, а чувством.

ЗОВ НАД РЕКОЙ

На берегу Волги стоит женщина и кричит:

— О-оо!.. О-оо!..

На той стороне туман, там никого не видно, но женщина не перестает выкрикивать свое тягучее «о-оо...».

— Вы кого-нибудь зовете? — спрашиваю я.

— Да перевоз же!

— Так и кричите: «Перевозчик!» — а то «о-о» да «о-о».

— Услышит он «перевозчика», как же! До деревни целая верста.

Я набираю полную грудь воздуха и пытаюсь вызвать перевозчика. Мое полное внятное слово угасло на середине реки, а ее невразумительное «о-о» легко пробивает туман и катится по косогору к невидимой деревне.

В молодости, работая учителем, я любил говорить длинно и красиво. Сперва и в газету писал так же. Но газета — не собрание: «регламент» строк жесткий. Но даже не строчки, а читатель, невидимый и далекий, как перевозчик, чаевничающий на том берегу, заставил писать кратко. Вскоре я понял: краткое слово доходит быстрее.

Понадобилась целая жизнь, чтобы усвоить правило: умная мысль, что широкая река, требует краткости.

ИЮньСКИЕ ГРОЗЫ

Бывают в сенокосную пору легкие грозы. Зачинаются они после полудня. Кажется, ничто не предвещает дождя: тихо кругом, солнечно, жарко. Но вот где-то далеко за горизонтом проворчит гром. Слабое дуновение ветра колыхнет травы, прогонит парящих над лугом стрекоз. Гром приближается. Он раскатывается широко, разгульно, в полгоризонта. Пепельно-серая туча не летит, не клубится, а медленно наплывает, закрывая

постепенно все небо. Ветер идет ровным упругим напором, но скоро стихает, и тогда начинается дождь, крупный, споркий, но короткий, от силы на полчаса.

Дождь кончился, туча прошла, догоняющий тучу ветерок обдул травы, и опять засияло солнце. Откуда-то выпорхнули стрекозы, полетели на медосбор пчелы. А через час все сначала: далекий гром, серая туча... И так до вечера.

Утром — туман, все мокрое, солнце всходит в облачной завеси, но скоро выпростается из нее, засверкает, обсушит землю, а с полудня опять заходит гроза. «Не работа, а наказание», — ворчат на лугах мужики, не сердито — скорее добродушно. Мужики знают: июньский дождь сыплет в закром.

...Добрый человек посердился, будто июньская гроза прошла.

«ЛАМПАДА»

Над моим столом висит портрет друга, большого доброго друга, которого уже нет. Под портретом я устроил вазочку — подобие лампы: мой друг очень любил цветы и все красивое в жизни и в человеке.

Первой в палисаднике распустилась черная смородина. Отломив две веточки, я поставил их в вазу, и они вот уже вторую неделю зеленеют и растут. Потом — тополевою ветку, черемуховую, которая приготовилась зацвести, а сегодня, шестого мая, я нашел три золотых огонька. Шел с коромыслом к реке и на спуске, на солнечном пригреве, заметил желтые цветки купальницы. Я сорвал живые огоньки, поставил в вазу, и моя лампада засветилась. Мне теплее от огоньков, гляжу на них и размышляю: лампы зажигают перед ликами святых, я зажег перед портретом друга, я молюсь не сказке утешающей, а строгой, требовательной, доброй дружбе, святее которой ничего нет на свете.

Гори, моя «лампада». Я молюсь.. Человеку!

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ

В июле знойным днем на опушке реденького лесочка седая липа пела песню. Липа была вся в цвету и на солнце казалась седой. А пела она неисчислимым множеством пчелиных крыльев.

Я стоял и слушал упоительно радостную песню труда. Какая разница, человек трудится или пчела? Обильная жатва — для всех радость, и собирать ее — упоение. Пригнув нижние ветки, я стал обрывать цвет. Дома в тени высушил, собрал в мешочек и положил до осени. В слякотную знобкую погоду, настынув на улице, хорошо заварить липового цвету и выпить горячего с медовым ароматом чая — простуду как рукой снимет.

Чаевничая вот так осенним вечером, я вспомнил, что рядом с деревом в траве угадывались камни фундамента, значит, стояла там когда-то изба, и липа была посажена под окном. Кому спасибо сказать?

...Мало ли чем пользуемся мы в жизни, не зная, кого благодарить. Но разве из этого следует, что не надо помянуть доброе дело добрым словом?

РОДНОЙ ДОМ

Так случилось, что я с полгода не был в лесу. И вот приехал..

Миновал сизое ржаное поле, вышел на поляну. Земляника созрела, старательно выискиваю в траве красные ягоды. Под березой заметил два боровика-колосовика, стал грибы искать. Попадались редко, вспомнил, что давно хотел нарвать молодого черничного листа, говорят, настой его усиливает зрение. Нарвал листья. И вдруг ловлю себя на мысли, что пришел я в лес за добычей и совершенно не замечаю, каков он после долгой разлуки. Опомнился и думаю: лес был колыбелью человечества, он давал кров, одежду, обувь, тепло, пищу, без чего не было бы нас, сегодняшних, и

мы, научившись каждый в отдельности (но не общество) обходиться без леса, все равно, попадая в него, начинаем искать добычу — хоть что-нибудь да унести с собой. А времена пришли такие, что идти в лес надо для отдохновения и наслаждения. Но ведь это — тоже добыча! Выходит, что же, мы так и не вышли из леса? Не вышли. Только отлучились. Лес был и остается нашим домом, большим, родным, щедрым, добрым домом. А дом надо беречь.

СОЛНЕЧНАЯ РЕКА

Я остановился на лесном перекрестке пораженный: в конце просеки за сизым овсяным полем текла... солнечная река. Над низиной стоял туман, солнце только что взошло, скользящие лучи его золотыми нитями пронизали серую вату тумана, и выткало солнце чудную золотисто-голубую реку.

Я стоял, наслаждаясь мирной картиной. Вдруг тишину нарушил вороний крик. Черные вороны низко летели над сизым полем, кричали тревожно и в то же время с какой-то злой радостью, словно поймали вора. Через минуту я увидел, как по опушке катится яркий рыжий огонь — бежала лиса и что-то несла в зубах, не то птенца, не то зайчонка. Лисе явно не нравилась досадная погоня, ей хотелось спокойно насытиться, а вороны не отставали, кричали, пугая лесное население, и птицы смолкли, лес притаился. Крик все удалялся, на какое-то время стих, потом послышалось что-то похожее на брань. Меня взяло любопытство, я двинулся в том направлении и вскоре на поляне увидел дерущихся ворон. Лиса или бросила добычу или оставила объедки, и крикливые защитники тишины и порядка передрались.

Все «принципиальные» крикуны шумливы и энергичны, пока ловят и преследуют другого, а достанется кусок самим — непременно передерутся.

Остившие у меня художники оставили краски. Я взял картонку и написал этюд. Своя работа всегда нравится. По крайней мере на первых порах. Говорю приятелю: оцени. Мой приятель отродясь не держал в руке кисти, но свету повидал, судить умеет.

— Передний план — гм... Зеленое поле — того... А лес — вообще...

Раскритиковал этюд, хоть выбрасывай. А я вставляю в рамку. Повисит день-два — закину на чердак. Но пока люблюсь, потому что сотворил сам.

Летом я надумал срубить баню. Если не считать рубленных на войне землянок, ничего такого я в своей жизни не строил. Какая вышла баня, не знаю, но самому по душе.

А приятель, не срубивший даже землянки, морщится:

— Тут закривил. Пропазил плохо. В общем, работал по принципу «девятая прижмет»...

Может быть, оно и так. Скорее всего так. Но вот чему я дивлюсь: настоящие и художник и плотник начинают судить о работе другого не с того, что не вышло, а с того, что удалось. Не потому ли, что они не только знают, как это делается, но и умеют делать?

Самые рьяные критики — многознайки-неуме-хи.

РУЖЬЕ

На задворках грохнул выстрел, и в деревне суматошно закричали вороны.

Выстрел ударил еще раз, через минуту — дуплетом. Небывало! В Усть-Дёрже никогда так не стреляют, хотя в каждой избе есть ружье. Да и в кого стрелять? Мы знаем наперечет всю живность, что водится по берегам Волги и Дёржи. Весной на жнивье токовал тетерев, а в кустах прятались две

тетерки. Зимой за околицей в одном и том же месте перебегает дорогу заяц-беляк. Нынче в устье Дёржи впервые остались на лето три утки. Ну еще лоси, этих много, но до открытия охоты еще далеко.

А выстрелы все бухают, перелески отзываются стоном-эхом.

Я выхожу на улицу и вижу по-городскому одетого мужчину. Вечером он приехал погостить. У него своя машина, новенькое с вертикальными стволами ружье, охотничий билет и много пороха. Он вырабатывает навык, бьет навскидку по воронам, а разогнав ворон, лупит по воробьям и синицам. Ему нужна движущаяся цель. А в сущности ему ничего не надо. Он просто купил ружье.

Тупая бессмысленность ходит по задворкам и лупит во что попало. Ружье куплено...

ИВАН-ЧАЙ



цветет иван-чай. Под легким ветром качаются над старой траншеей сиреневые султаны. Но почему их так мало? Помню, рос иван-чай по всей траншее, а сейчас... что-то похожее на уцелевших после боя солдат: сошлись в кучку, поднялись в рост и склоняют головы над павшими товарищами.

Недели две назад я стоял тут, удивленный странной картиной: заросли иван-чая напоминали стадо невиданных длинношеих птиц. Растения росли прямо и вдруг согнулись, поникли, окрасились на сгибах в неестественный кроваво-красный цвет, но готовые зацвести метелки, собрав последние силы, чуть поднялись — и получились грациозно изогнутые гусиные шеи. Я подумал, что повинны поздние холода, это они чуть не побили иван-чай, и даже восхитился удивительной картиной фантастического стада гусей, бредущего краем поля неведомо куда. Вспомнил, что один добрый русский писатель назвал иван-чай мужественным цветком: он первым приходит на пус-

тыри и пожарища, заселяет их и, создавая тень, спасает от жары и морозов крохотные семена берез, принесенные сюда ветром.

Сейчас же, когда иван-чай зацвел небольшим островком, я понял, что не холода побили его, а всеильная химия. Самолет опыливал посевы ядами, пожег опушки леса и убил мужественный цветок. Растения, напоминавшие стадо удивительных птиц, погибли. Над бурыми сухими зарослями укором равнодушно и торжеством неистребимой красоты высится цветущий островок.

На старой траншее действительно шел бой, бой беззащитной красоты и всеильного равнодушия. Красоту победили, но не истребили.

ОДУВАНЧИК

Отцвел одуванчик... Стоят белые пушистые шарики на длинных ножках. Поляна будто белой пряжей заткана. Ветер срывает с шариков крохотные парашютики и уносит неведомо куда. Красиво.

Но вот прошел дождь, обил парашютики, белая пряжа скаталась в грязную суволоку — и кончилась краса одуванчиковая.

...Все в жизни мимолетно. Отцвело, созрело — и поглядеть не на что. Любоваться другими будут — не тобой.

СТАДО ИДЕТ

Через прибрежный березовый лесок пастухи гоняют стадо на пойму. С грибной кошелкой я выхожу навстречу и встаю обочь тропы под березой. Зрелище идущего стада завораживает.

Сперва возникает глухой неясный шум. Его улавливаешь скорее ногами, чем ухом, — земля передает тяжкую мерную поступь. Через минуту в притуманенном березнике возникают очертания крупных сильных животных. Коровы идут наби-

тыми тропами, одна за другой, они все одной масти — светло-палевые сычевки, комолые, тонконогие, поразительно красивые в легком мареве густых белых стволов. Вокруг все неясно, расплывчато, палевые пятна возникают, приобретают очертания коров и растворяются, только дрожь земли четка, материальна, она катится упругим валом, наполняет лес, заглушив звонкий стук дятла и флейтовый свист иволги. Один могучий гул царствует в лесу, и мне начинает чудиться, что это не я, человек двадцатого века, наблюдаю мирных коров, а мой дикий предок, выйдя на сбор съедобных кореньев, встретил стадо вольных буйволов и остановился, пораженный их мощью. Воображение так сильно, что я впрямь начинаю верить, что в моих генах закодирована вся память человечества.

Стадо прошло, все стихло, остался запах молока, теплого дыхания, разгоряченных тел, я вдыхаю его с чувством уверенного в своей силе и довольного своим трудом хозяина. Но после прохода стада у меня почему-то пропадает охота собирать грибы, и я возвращаюсь домой с ощущением неясной потери.

ПРИМЕТЛИВОСТЬ

Бабка Груня пришла попросить таблетку от головной боли и засиделась. Рассказывает:

— Вот я нынче выгадала: картошку посадила глыбко, очень она у меня семейная уродилась.

Я не вдруг догадался, что «семейная» означает урожайная, много клубней в гнезде. Поди ж ты, ушло слово из обихода, а какое меткое! Восемь букв — и все сказано, а мы восемь слов потратим и то не сразу друг друга поймем.

— Хлеба нынче что-то запаздывают, — говорю я.

У нее и на это ответ:

— Зарниц не было и грома млявые — плохо хлеб зреет.

— На ягоду урожай нет.

— А ягоду все лето холод одевал, какой ей рост?

— Скворцы рано улетели, и дроздов что-то не видеть.

— И-и, какой неприметливый! На иргу, на рябину погляди — сморщилась вся, посохла.

— Отчего же?

— Оттого, что в налив заморозок пал, соку не набрала, а птица ягоду сочную обожает...

На столе у меня целая стопка ученых книг, а слушать бабу Грюню — истинное удовольствие.

ОБЛАКА

Весь день дует ветер, гонит по небу облака. От облаков по земле бегут тени, их много, и потому замечаешь не тени, а солнечные «окна». Светлые летучие «окна» создают впечатление, будто шарит по земле лучом солнце-прожектор, выискивает, не оставил ли на поле человек беспорядка: скоро землю снегам укрывать, морозам студить. И когда падает луч на несжатую ниву, начинает сердито гудеть в проводах ветер — тревожит земледельца: не опоздай!

Но стоит ветру стихнуть, и белые облака с серыми поддонами вытягиваются в длинные валы. Движение их столь медленно, что кажется: это не облака на небе, а росистая трава в прокосах на лугу. И меняется у человека настроение: еще продлится золотая пора, успеет он хлеб сжать, землю прибрать — к снегам приготовить.

Простые облака, а человеком повелевают.

ДРОВИНА

Я могу попросить шофера грузовика, и он привезет мне целый воз дров. Но я, встав до солнца, беру топор и иду в лес. Нахожу нетолстую сухостоину, вырубая бревнушку, кладу на плечо и возвращаюсь домой. Выйдя на опушку,

останавливаюсь и гляжу с пригорка на свою деревню. Солнце уже взошло, осветило вершины березовой рощи, но избы еще в тени, они так покойны и тихи, что кажутся живыми существами, облюбовавшими для ночного отдыха подножие рощи. Мною овладевает удивительное чувство родства и доброжелательности к этим большим тихим существам, не хочется будить их шорохом шагов, и я стою на пригорке, жду, когда солнце перевалит за вершины, заглянет в окна, и тогда скрипнет первая дверь, брякнет ведро — деревня проснется.

На придворке положу бревнушку на козлы, распилю, поколю на поленья и затоплю вместе со всеми печь. В небо поднимутся белые дымки, запахнет печным теплом, и от этого тоже прибавится на душе радости. Я не могу объяснить, что заставляет меня таскать на себе дрова, знаю только, что без ранних походов в лес и любования утренней деревней с пригорка мне определенно будет чего-то не хватать. Сам себе дивлюсь: дровина и настроение — какая между ними связь? А вот же, выходит, есть, коль не иду к шоферу грузовика и не прошу его съездить в лес.

ПЕНОЧКА

Первые маслята цепочкой высыпали на опушку. Я стал кружить на одном месте, высматривая грибы в траве под молодыми березками. Вдруг пеночка-теньковка прилетела, серенькая, с черной головкой. Вьется вокруг, с ветки на ветку перепрыгивает и сердито на меня покрикивает, словно я ей в чем-то мешаю.

Пригляделся к пичуге и вижу: в клювике червяка держит. Эге, да она птенцов кормит. Где-то тут гнездо должно быть.

Отошел подальше, гляжу, что же будет? Вдруг трава шевельнулась. Пеночка с ветки живехонько в траву нырнула, но тотчас с криком назад вылетела. Червяка все держит, значит, не нашла птенцов. Где же они?

Глядел я, глядел, ничего не выглядел. Пошел своей дорогой. Иду, а сзади: тень-тени... тень-тени... До того тревожно кричит пеночка, что тут и большого соображения не надо, чтобы понять: пропали птенцы. Наверно, оперились и вышли в первую дорогу — мир познавать. Уйти-то ушли, а назад пути не найдут. Как им, несмышленным, в такой травнице не заблудиться! Ну да ничего, живы будут: в траве мошек много — прокормятся.

ПЕРВЫЙ ОПАВШИЙ ЛИСТ

Все той же тропой через рожь иду в лес. Что-то неуловимо изменилось в природе. Нет, не созревшая рожь, по которой вчера прошел комбайн, оставив рядок соломенных куч, напомнила, что наступил август. И не листва берез, чуть-чуть поблекшая, будто тронутая первой сединой. И не сухие метелки овсяницы среди цветущих зонтиков тысячелистника. Что-то в самом воздухе вдруг сказало, что лето повернуло на осень. Исчезли его легкая утренняя свежесть и сухая прозрачность. Воздух отяжелел, приобрел весомость, и уже не синей дымкой подернуты дали, а серой туманностью затянуло их.

В бору-беломошнике лежит опавший березовый лист. Откуда ему быть? Стоит береза в расцвете сил. Но где-то в гуще кроны уже отмер один лист, второй, третий — и в ночном безветрии неслышно упали они на белый мох. Из мха, маскируясь под желтый лист, полезли лисички и маслята. Со дня на день жди боровиков.

Надо бы радоваться грибной поре, а мне, когда гляжу на первый опавший лист, становится грустно. Отошла пора расцвета, и что-то в тех, уже прошлых, днях осталось несделанным, незавершенным, а вернуться назад нельзя, и с досадой начинаешь прикидывать, сколько дороги еще впереди и возможно ли наверстать упущенное? Знаешь: невозможно. Время все уплотняется, а несделанного копится все больше. За первым желтым листом появляются целые пряди, потом вся крона

вспыхнет пламенем и при первом ветре прольется на землю золотым дождем. Это твои бездельно прожитые дни отшумели красиво, но бесполезно. Их уже не вернешь...

СОЛДАТКИНА ИЗГОРОДЬ

В наших краях приусадебные участки называют немного странно — планы. Говорят, например: «Нынче трава на планах никудышная: помочки не было».

Планы огораживают от скотины изгородями. И в одну жердину, и в две, и в три, смотря по хозяину. Не ленив мужик в доме — изгородь в три жердины, а ленив — в одну кое-как.

Но вот уже лет тридцать изгороди на планах не хозяина аттестуют, а говорят, сколько мужиков с войны не вернулось. Если на кольях колючая проволока висит — это солдаткин огород. Отвалила солдаткам война от своих щедрот, целые возы «колючки» оставила — городите, бабы, огороды.

Жердина гниет, «колючка» ржавеет, человек старится. И стоять бы со временем солдаткиным планам распахнутыми, если бы не электрификация. Пришли в деревню электрики, раскатали деревянные барабаны, подвесили провод на столбы, а что лишку — бросили. Старухи концы размотали, в одну нитку связали да на кольца натянули. Глянешь на огороды солнечным днем — дивная паутина блестит, не лето ль бабье наступило?

То не бабье лето красуется, а вдовья доля плачет.

РУКИ И ДУША

Монотонно стучит на крыльце повешенное на крюк коромысло, и, кажется, не от холодного северного ветра, а от этого зябнущего, робкого стука становится неуютно и знобко. Я

оставляю работу на придворке и вхожу в избу. Вытопленная с утра печь, стол с бумагами, старенький диван, каждая до мелочей знакомая вещь дохнули на меня вдруг таким милым уютом, что я не сразу нахожу слово, чтобы выразить свое состояние. Приятно? Радостно? Отрадно? Нет, нето. Снимаю сапоги, раздеваюсь, хожу по избе, и в душе что-то нарастает, тихое, приятное, и становится необыкновенно легко и... непонятно: откуда это, отчего?

Сажусь к столу. За окном моросит мелкий, нудный дождь, стынут деревья, никнет жухлая трава. А на душе солнечно. Беру перо, и оно будто под неслышную диктовку выводит: довольна. Вот! Душа довольна сделанным руками. Руки сколотили стол, вытопили печь, намыли полы, расставили, развесили, прибрали — создали желанный душе уют. Не чьи-либо, а свои. Делом рук чужих душа может радоваться, делом своих — быть довольной.

ДУБКИ

За деревней на бывших пустошах растет березовый с редкой примесью сосны лес. Я пошел туда поискать грибов. Но погода стояла сухая, и обычных в это время «колосовиков» не видно было. Попался груздок опенков да несколько маслят — и весь сбор.

Когда мое внимание отключилось от грибов, я заметил дубки. Они были совсем маленькие, на два, на четыре листа, и росли одиночками по всему березнику. Сколько по лесам хаживал, такого не видел. Добро бы старые дубы были поблизости, а то, куда ни глянь, — береза да редкая сосна. Может, давным-давно рос тут дубовый лес?

Спросил у бабки Аграфены, а она говорит:

— Не было там дубов, поле было, а потом пустошь, а лесом уж в войну поросло.

Что за загадка: желуди ведь по воздуху не летают?

— Скорей всего, белка посеяла, не то ежик, —

обдумав, сказала бабка.— В деревне Новой, две версты отсюда, дуб, кажись, есть.

Пошел в Новую — точно: стоит дуб. И представилась мне такая картина. Выдался год — желудей на дубу, что ягод на рябине. Прознали про то белки и повадились из старого леса, что за березником растет, к дубу бегать, желуди на зиму таскать. Набьют за щеки, прыг-скок, прыг-скок, а путь далек, то одна уронит желудь, то другая, искать никогда, торопятся запас до дупла донести. А потеряшки до весны пролежали, корешок пустили и пошли расти под сенью берез.

— Хорошо придумал,— усмехнулся на мой рассказ лесник.— Дубки-то сойка посадила. Эта особа запасливая, имеет привычку желуди в землю прятать. Спрячет, а потом не найдет. Такой уж она лесовод.

— Все равно,— сказал я и, выкопав в березнике дубок, посадил в тени у крыльца. Боялся, не примется: кто ж летом пересаживает? Но поливал дважды на дню, и — принялся. Пускай и на Усть-Дёрже вырастет дуб-великан, когда-нибудь и от него сойки лес разведут.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ

Поробили по радио куранты. На улице редющий сумрак теплой ночи. Я одеваюсь и выхожу на крыльцо. Вот-вот взойдет солнце. Зарозовели края высоких облаков. Мягкой оранжевой дымкой подернулись березовые рощи. Даже серая стерня сжатых полей посветлела, будто ее выстирали на ночь. А неподвижный воздух кажется налитым в хрустальный сосуд янтарным раствором. Все звуки необыкновенно отчетливы, по ним, как по книге, можно читать жизнь окрестных деревень. Гулко заработал далекий трактор: тракторист готовится пахать зябь. Хлопнули раз, другой, третий двери — это выгоняют в поле скотину. Скрипит ведро на дужке коромысла — кто-то идет к реке по воду.

Солнце, словно капля кармина из тюбика,

выдавливается из серой низкой гряды облаков. Вот капля оторвалась, выкатилась на чистый небосвод, начала желтеть, раскаляться до жаркой белизны, и тогда воздух чуть дрогнул, шелохнулась листва на вершинах берез — родился робкий ветерок.

Я поднялся на гору, за которой начинаются перелески. Только сейчас разглядел, что весь приречный лес с полевой стороны окаймлен березниками. А через поле к лесу лучами тянутся узкие березовые ленты.

Это — траншеи. Когда-то тут была передовая, траншеи от передового края сходились в тыл, к батальонным и полковым узлам обороны. А когда война отдалилась и сюда вернулись пахари, им было не до траншей. На брустверах выросли березы.

Я пошел вдоль военной борозды. За тридцать лет отмирающие травы и палая листва затянули траншею, но глаз легко угадывал в осыпях бывшие блиндажи, стрелковые ячейки, пулеметные гнезда.

Вдруг что-то остановило меня. Огляделся — и.. Да это же не белые березы столпились у траншеи, это дочери и внуки солдат пришли посмотреть на места, где воевали их отцы и деды. Пришли и, потрясенные и зачарованные, остались тут в вечном карауле.

Сколько лет ты прождал меня здесь?
Вот и встретились... Здравствуй, отец..
В небе глухо березы шумели,
Горько пахло опавшей листвой.

Не торопитесь рубить березы на старых траншеях!

ГОРЬКИЙ ДЫМ

На огородах жгут ботву, ветер гонит в поле белый горький дым.

Отчего дым от хлама особенно горек?

А так, видно, и должно быть: сладкие соки отданы плодам, осталась горечь, которую развевает ветер.

БЕЛЫЕ РОЩИ

На сером увалистом поле, спускаясь языком к Волге, пылает огромное рыжее пламя. Три дня идут дожди и не могут залить пламя, едва прорвется сквозь тучи солнечный луч, оно разгорается пуще прежнего. Это осенним пожаром полыхает березовая роща.

Пламенем берез охвачены берега Волги от самого истока верст на триста вниз.

На верхней Волге долго стоял фронт. Поля не засеивались хлебом. Брошенные пашни засеяли березы с деревенских околиц. И поднялись рощи, такие ровные, с четкими, похожими на белые стены опушками, что никак не подумаешь, что выросли они сами, без помощи человека. Это и породило легенду. Я услышал ее однажды от девочки Гали, которая в свою очередь слышала от бабушки.

— На артиллерийской батарее служил русский солдат. Он был учителем, преподавал в школе биологию. Когда не было боев, учитель собирал березовые семена и высевал на позиции. Он не просто кидал семена в землю, а написал ими какие-то слова. Может, имена своих товарищей, может, названия городов и деревень, откуда они пошли на войну, а может, завещание какое. Точно никто не знает, потому что прочитав слова очень трудно. Мы всей школой ходили читать, всего несколько букв разобрали. Чтобы все прочитать, надо подняться на самолете и посмотреть сверху. Старые люди говорят, что солдат жив и приезжает иногда, обходит свои рощи, а людям не объявляется. Некоторым выпадает счастье увидеть солдата, но только издали. Если окликнешь — сразу исчезнет, будто в воздухе растает. Я тоже хожу в рощи, очень хочу увидеть солдата. Бабушка говорит, что я счастливая, обязательно увижу. А вы как думаете?

Я думаю: зачем старые люди придумывают легенды? Не затем ли, чтобы дети жили красивой мечтой?

НЕВЗРАЧНЫЙ ВЕРЕС

В октябре, когда первые заморозки подсластят на грядках капусту и кочны начнут срубать и сносить в сени, однажды утром по всей деревне разольется вдруг острый запах вереса. Это хозяйки перед квашением капусты начинают выпаривать кадки. Кинут в кадку несколько веток, зальют кипятком, укроют чистой дерюжкой — и дезинфекция началась. Фитонциды вереса убивают гнилостные бактерии. Лесоводы утверждают, что гектара вересовых зарослей достаточно, чтобы очистить от болезнетворных микробов воздух большого города.

А в лесу это невзрачный кустик с вечнозеленой мягкой хвоей. Его еще называют можжевельником, а то и северным кипарисом. По форме он похож на кипарис, только маленький. На ветках — шишки, которые за малую величину — всего с горошину — называют ягодами. Ягоды на ветках висят и зеленые, и черные. Это потому, что созревают они не в тот же год, а на второй, к осени. В каждой шишке-ягодке по три семечка.

Я, бродя по лесу, задумался: почему и сосна, и береза, и черемуха, и дуб, и рябина воспеты в стихах и песнях, а о вересе — ну хоть бы слово! Отчего так? За малый ли рост, за невзрачность, за скромное цветение обошли его?

И вот получается: входя в лес, любимы мы мацовой стройностью сосен, белизной берез, могучей силой дубов, яркими гроздьями рябины, а вниз, под ноги, на невзрачный кустик можжевельника и не взглянем. Вспоминаем о нем, когда кадки выпаривать надо.

СМИРЕНИЕ НЕ ПОКАЗАНО

Не всегда осень золотая, случается и гнилая.

Нежарко. Небо глухое, серое. Воздух так насыщен влагой, что над землей висит водяная пыль. Ветра

нет, изморось держится на восходящих теплых потоках, копится в крохотные капельки-шарики, они набухают, тяжелеют и время от времени сыплются нудным морозящим дождем. Трава, деревья, постройки впитывают влагу и тут же испаряют ее, она снова легким туманом поднимается ввысь, конденсируется и опять выпадает дождем. Сутра до вечера идет этот надоедливый круговорот, и все начинает гнить: старые деревья, столбы, сено в скирдах, стены и крыши изб, а пуще всего хлеба.

Созревшая рожь никнет к земле, зерно в неживом уже колосе преет и начинает прорастать. Надо торопиться с жатвой, но машины не умеют убирать мокрый хлеб. С горькой думой смотрит на хлебную ниву земледелец — он бессилен. Нужен ветер, который разогнал бы сырую дремотность природы, нужно солнце, которое высушило бы хлеба, а их нет, все серо, мокро, неподвижно...

Может быть, природа затем и насылает гнилую осень, чтобы не забывали люди, сколь сложен и героичен труд земледельца. Потому героичен, что не смиритсЯ человек с непогодой и хлеб все-таки уберет. Земледельцу смирение не показано.

МИТРЯИ

Над Волгой, на косогоре, росла березовая роща. С некоторых пор повадился ходить в нее топор, и роща начала редеть. Нынче я не узнал ее: спилены последние рослые деревья, остался по обводу, словно реденький венчик вокруг плечи, кривой, обломанный подрост. Роща сведена.

Свел ее Митряй Сухарев, безалаберный мужик, лет пять назад уехавший из деревни. Он купил в городе дом и каждую зиму приезжает сюда за дровами. Он берет трактор «Кировец», созывает толоку, вкатывается в рощу и кромсает бензопилой. Он не едет в лес, где отведены дровяные деланки, он катит в рощу: и дорога гладкая, и платить не надо, и ехать — минуя деревни — не остановят. Митряй тут свой, знает, где что растет, где что стоит и лежит, и хотя свой-то он «бывший»,

однако считает за право брать как свое. И вот что еще удивления достойно: став «бывшим», берет он без меры и без думы.

Впрочем, не мною замечено, что у таких митряев, бывших деревенцев, весьма безжалостное отношение к родным местам. Вырубая рощи на дрова, вычерпывая рыбу, обдирая ягодники, вытаптывая грибницы, митряи словно бы мстят земле за потерю того, что когда-то имели, к чему относились с бережением и расчетом. В то же время митряи не прочь умилиться знакомой березке на косогоре, речному плесу, где бесштаннкими мальчонками ловили пескарей, повздыхать над опустевшей улицей и заросшим бурьяном подворьем. Сентиментальность и безжалостность — не есть ли это те горькие семена, которые кинула на прощание в душу человеку родная покинутая земля?

ЖУРАВЛИ

Вечером шел дождь, а под утро мокрую траву схватило морозом. Идешь пожнями — будто по хрусткому морскому песку.

Знобкий ветер поселился в лесу, бродит меж сосен с разгульным свистом. Протяжно и печально шумят сосны — прощаются с летом.

Я стоял на опушке и слушал прощальную песню леса. С неба упал журавлиный крик. Птицы летели строгим клином, и вдруг строй рассыпался, замесался беспорядочно над Усть-Дёржей.

Что случилось в чистом небе? Отчего так странно тревожно закричали журавли?

Однако недолго в стае был беспорядок. Птицы построились в круг и минут десять кружились над Волгой. «Уж не справляют ли они ритуал прощания?» — подумал я. Да нет, скорее всего, увидели слияние рек — Волги и Вазузы — и засомневались: какой держаться? Покружились, поспорили и вспомнили: Вазуза ведет к Днепру, Днепр — к Черному морю. Давным-давно ходили этим путем славянские челны из Владимира в Киев...

У птиц дороги неизменные, а человек торит

новые. Но когда доведется ему ступить на старую, брошенную и забытую, делается отчего-то грустно, и он слагает песню о журавлях.

Песни о журавлях, как осенний птичий крик, веселыми не бывают.

ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

С ижу у края поля на куче валунов и смотрю, как уходит последний день золотой осени.

На пригорке, вычеканенная из красной меди и старой позеленевшей бронзы, стоит березовая роща. Низкое солнце бьет прямо в березы, а за ними грядущим ненастьем поднимается серо-фиолетовая туча. Перед собою туча гонит журавлиную стаю. Птицы устало машут крыльями, кричат протяжно и тоскливо.

Солнце все ниже. Вот оно опустилось на вершины заречного леса, раздвинуло их, потеснило, выбирает место поудобнее, чтобы спокойно полежать ночь в чащобе. От леса упала тень: сначала на берег, потом перешла реку, дотянулась до кучи валунов — и пошла, и пошла по клину озими к березовой роще. По пути вычернила клеверные стога, затушевала сухие кустики иван-чая на пригорке, вот уже стирает теплую позолоту с березовых стволов и вдруг разом пропала. Все поблекло, посерело — с земли ушел последний луч солнца. На короткое время он поджег края тучи и погас совсем. Хозяйкой неба и земли осталась серо-фиолетовая предвестница ненастья.

ОСЕННИЕ ЗАРНИЦЫ

Случалось ли вам видеть зарницы? Не летние, в пору созревания хлебов, вольно польхающие полнеба, а осенние, робкие и мимолетные: взблеснет что-то такое светлое на горизонте и пропадет, не успеешь и глазом схватить.

Нечто подобное осенним зарницам происходит в человеческой памяти. Случается это ранним утром, когда только из дому выйдешь, вдруг пахнет чем-то страшно знакомым — махорочным дымком, зрелой полынью или теплым духом ржаного поля — и тотчас взблеснет в памяти робкая, неясная, неуловимая картина. Вы силитесь вспомнить, понуждаете мозг возродить забытое, но тщетно: видение мелькнуло и пропало.

Как осенние зарницы — лишь бледная копия бурных лесных гроз, так и мимолетные всплески памяти на склоне лет есть слабое отражение ярких детских впечатлений. И как же щемяще грустны они!

СТРАННОСТЬ ПАМЯТИ

Не понимаю, почему в моей памяти сильнее всего запечатлелась осень.

Стою на озимом поле за Усть-Дёржей. В безмолвном лесу каркает ворона. У меня такое ощущение, как будто я не сию минуту слышу ворону, а сорок лет назад: что-то давнее-давнее пробудилось в памяти. Но странно, почему со мной не случается такого ни летом, ни весной, хотя вороньего крику слышано-переслышано?

И багряный лес, и увянувшая трава на полянах, и темные стога на просторных полях, и рдеющие на голых ветках гроздья рябины, и легкая прозрачность воздуха — все это пробуждает в памяти столь яркие и свежие видения, что начинает казаться, будто от прожитых лет не осталось ничего, кроме осени.

Найти бы причину этой странности. Может, она — в школьной дороге? Три версты до школы на рассвете да три обратно на закате — нагладишься на лес, на поля, на игру света и красок.

Может, в стихах из хрестоматии? Книга для чтения была составлена так, что как раз на это время приходились волшебные строки: «Багряный лес роняет свой убор...», «В багрец и золото одетые леса...», «И луг, уставленный скирдами...»



А может, в том, что осень воздействовала на чувства горьковатым дымом ботвы, хлебным духом вытопленных ночью риг, янтарной прозрачностью антоновки, грибной прелью лесов? Земля одаривала плодами, и человек был раскрыт для доброго и радостного.

Не знаю, в чем причина избирательности памяти. Знаю одно: только осенью я способен листать книгу жизни с чувством исполненного долга и светлой печали от малости свершенного.

БЕРЕЗОВАЯ ПОЛЕННИЦА

Мне привезли из лесу воз березовых дров. Я распилил их, поколол и сложил на придворке в поленницу.

Вечером в сумерках белая поленница излучает

мягкий свет и кажется отворенной в комнату дверь. Я возвращаюсь из дальнего похода и, еще издали завидя светлый проем двери, убыстряю шаги. Промерзшего на холодном ветру, меня ждет сухое тепло у жарко горящей печки. Сяду сейчас поближе к огню, протяну руки, и поленья выстрелят навстречу малиновыми угольками. В потрескивании огня услышу шум веселой березовой рощи, утренний гомон птиц и представлю, что на улице не ноябрьская стынь, сковавшая лужи, а июньский полдень, пахнущий лесными травами...

Иду и думаю: много ли человеку надо в нелегкую минуту? Маленький мираж — и возьмется откуда-то силы, веселее станет на душе, и готов шагать дальше — на ветру, на морозе. А всего-то и почудился в березовой поленице призывный свет распахнутой двери.

КАЛИНОВЫЙ КЛЮЧ

На белом снегу рдели гроздья рябины. Я увидел их издалека и направился к сопке, на склоне которой рос калиновый куст.

Под кустом была вырыта маленькая пещерка. Из пещерки сочился незамерзающий ручеек и стекал в солдатскую каску. Он наполнял ее чуть выше половины и уходил через рваную дыру под снег. Дыра в каске приходилась как раз в то место, где должно быть звездочке. Каска была пробита пулей.

К ключу вела тропа. На снегу четко отпечатывались широкие копыта лося. Рядом — бисерная цепочка: какой-то маленький зверек прибегал напиться. Под самым кустом — несколько опавших рубиновых ягодинок: наверно, снегири лакомились. А на ветке, что ниже всех склонилась над ключом, висел берестяной черпачок — это уже для человека.

Кто сотворил чудесный калиновый ключ, к которому приходят утолить жажду и звери, и птицы, и человек? Я спросил у лесников, и они сказали, что в войну здесь погиб их товарищ —



партизан, и в память о нем они устроили этот ключ.

Вот, оказывается, какие памятники умеют ставить люди тем, кто погиб за Родину! Вечно живые памятники.

ПАМЯТЬ

После долгой отлучки я возвращался в Усть-Дёржу. За поворотом открылась синяя излучина Волги, и во мне что-то дрогнуло, строилось и пошло-понеслось без череды, без порядка, словно вихрем взметнуло опавшие листья. Встречи и расставания, сумерки и зори над речным плесом, тихая песня и теплое прикосновение женских рук, пыльный зной полдня и волшебный свет лунной ночи, пастухи, трактористы, старухи, грозы, ветры, ароматы скошенных трав, птичий гомон в садах и грибная прель осеннего леса — сотни коротких, как вспышки, картин, путаясь и наслаиваясь, стремительно неслись в памяти, и колотилось в груди сердце, и беспокойно искали чего-то руки,

и всем моим существом овладело нетерпение: скорее, скорее увидеть белые окна, березовый рядок у крыльца, потемневшую от дождей калитку, и я понял, что это прорвалась тоска по дому. Она копилась исподволь. Когда я ездил другими дорогами, ходил улицами других деревень, разговаривал с другими людьми, в душе происходила потайная работа — душа отбирала, сравнивала, впитывала схожее, привычное, родственное и неслышно звала и звала домой. Ее тихий зов все нарастал и нарастал, он повелевал вернуться, и я, покоряясь ему, повернул на старую дорогу, и при первой же искре, когда синим блеском блеснула Волга, пламенем вспыхнули накопленные и хранимые душой впечатления. Поразительно, что в этом очистительном огне сгорает все горькое и печальное, все злое и несправедливое, остается только светлое и доброе, только чистое и возвышенное, и невольно подумаешь: какой великий смысл в избирательности памяти!

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

На опушке, в окружении сосен и берез, есть маленькая поляна, которой я положил, наверно, тысячу поклонов. Я брал здесь брусничный и черничный лист, брал алую ягоду землянику и сизую ягоду чернику, брал гриб боровик и траву зверобой, а сейчас пришел за калганом. Среди пожухлой травы, встав на колени, ищу стебли с нежными пятипалыми, словно раскрытая ладонь, листочками. Потянув за стебель, добираюсь до корневища и ножом вырезаю кружок земли, очищаю — и вот на ладони клубенок, источающий приятный калгановый аромат. Каждому клубеньку я кладу земной поклон, и мне приходит мысль, что земля ничего не отдает человеку без поклона: ни хлеба, ни корня, ни травинки, и поклон этот, единственно благородный и благодарный, возвышает человека до высочайших вершин — открывателя и творца.

«ТАКОВА ЖИЗНЬ»

Я проснулся внезапно, будто и не спал. Не пойму, что же меня разбудило.

Вышел на крыльцо. Короткая июльская ночь кончалась. Над лесом, в той стороне, куда уходит Волга, разгоралась тонкая полоска зари. Было тепло и тихо. Где-то за рекой коротко и гулко, будто в пустую бочку ударили, взлаяла собака. Серdito прикрикнул на нее перепел: «Спать надо... спать надо!..» Собака замолчала.

В предрассветной тишине тоненько запела садовая пичуга. Что-то старательно она выговаривала. Я прислушался.

— Беги-беги,..— торопила кого-то птичка и тотчас сокрушенно вздохнула:— Ох-иии.. Ох-иии..

Тут же повеселела и вывела соловьиное колено:

— Че-че-вить... че-че-вить...

— Забавно поешь,— произнес я.

А она в ответ:

— Се-ля-ви..

Где я такое слышал? Ах да, во сне. Кто-то произнес французскую фразу и разбудил меня. А что она означает? Спросил у гостившего у меня студента:

— Андрей, что такое «се ля ви»?

— Такова жизнь,— перевел он.

Где садовая пересмешка выучилась по-французски, уму непостижимо.

НЕ ТА ВОДА

С утра солнце, мороз, чистое небо.

Кругом ослепительный белый мир. Ровная, сверкающая до рези в глазах равнина. Перелески в тонких батистовых кружевах. Только шоссе — будто серая лента, кинутая от горизонта до горизонта.

Волга, набрав силу, оторвала лед от берегов, взломала белый горб и разлилась буйным поло-

водьем. К полудню разогрело солнце, погнало свежий снег, зашумели, забурлили ручьи.

Встретил знакомого председателя, говорю:

— Великолепно! Ну и воды нынче будет!

А он в ответ:

— Это вода не наша, в море скатится. Наша та, что землю напоит. Весна серая — мужик с хлебом, а ярая по миру пустит.

Вот и угоди мужику! И много воды, да не та. А что ж, хлеб растить — дело такое: пока научишься — поседеешь.

В ПОЛНОМ СОГЛАСИИ

Апрель поднял воду в небо: днем солнце топило снега, ночью мороз высушивал. Земля вышла с зимы сухой. Мужики жаловались на весну: неурожай сулит. Жалоба подействовала — в первых числах мая пошел дождь. День идет, другой, третий... Ровно, тихо, неустанно с утра до вечера. Земля жадно впитывает влагу, грязи нет, и мужики по дождю сеют овес и лен.

Так и идет работа в полном согласии: мужики сеют семя, небо — дождь. На хлеб стараются.

НАВОЗ ПОД КАРТОШКУ

Подходит время сажать картошку. Каждое утро, входя в огород, говорю себе: надо положить навозу, земля истощилась, нехорошо в пустую кидать клубни. А за навозом ходить на край деревни. Коня нет, телеги нет, придется носить ведрами. А силенок тоже нет. Встречаю соседку, тетку Надю, делюсь сомнением. Она говорит:

— Ай, бросьте, нам так немного осталось!

И такая печальная неизбежность дохнула на меня, что я подумал: правда, к чему надрываться

и укорачивать себе дни, на мой век хватит и того, что Бог пошлет. Думать-то думаю, а войду в огород и... стыдно! Будто замыслил обмануть самого близкого, безропотно-покорного друга. И я оттягиваю срок. Соседи сажают, а я все тяну, все не могу решиться сажать без навоза.

Наверно, в такую вот весну, после тяжелой зимы, поглядев на готовую принять семя землю, и сказал обессиленный годами крестьянин: помирать собирайся, а поле сей.

ВЕТЕР ГУДИТ К ПЕРЕМЕНЕ

Я узнал его голос и обрадовался: завтра потеплеет. Это уж непременно: ветер загудел — жди перемены. Сколько раз примечал: дует и дует, без гулу, без свисту — погода стоит, как на якоре. Но вот ровно и упруго загудел в правом углу избы, иногда всего на полдня, иногда на трое суток, и я настраиваюсь на перемену. Вот и вчера: было холодно, даже снежинки кружились, и мне ничего не хотелось, а с полудня загудел ветер — и сегодня ровный тихий дождь, во мне что-то пробудилось, потянуло найти занятие...

В городах отгороженные камнем от поля и леса, от реки и неба, от зари и ветра — от всего, что прекрасно в своей переменчивости, мы не улавливаем живой связи с природой и относим перемены в своем настроении к субъективным причинам. А тут вот, в окружении полей и лесов, под ничем не заслоненным небом, в первозданной тишине, когда по шуму переката угадываешь падение воды в реке, по голосу ветра — погоду, по цвету листвы — время года, тут понимаешь, что повелевает нами всевластный царь — природа. Только не знаем пока, как зовут и где живут те царские слуги, которые передают повеления ветра и зари, ночи и дождя, росы и луны нашему движению — душе.

ЛУЖАЙКА И ЛУЖА

Была лужайка, зеленая, веселая. Росли на ней мурава, ромашка, подорожник. Цвели лютик и луговая герань. Играли дети, отдыхали усталые после сенокоса мужики, скворцы собирали корм птенцам — всем годилась, всем нужна была веселая лужайка.

Однажды через лужайку шло стадо. Тяжелые животные двигались медлительно, важно, с достоинством незаменимых кормилиц. Острые копыта резали дернину. Трава пригнулась, вжалась в землю, и земля, подавая стеблям и листьям свои соки, снова делала их упругими, трава распрямлялась, пыталась встать, но опыта опять и опять давили, вжимали в землю. На лужайке шел спор, поединок, бита. Жизнь билась... С чем же она билась? Да с жизнью же! Трава — жизнь, и скотина — жизнь. Только вторая выступала на этот раз в роли тупой всесокрушающей силы.

Большое было стадо. Оно все шло и шло, копыта все давили, резали, рвали, выворачивали листья, стебли, корневища — и лужайка пала. Все живое на ней погибло. Она стала черной и после дождей превратилась в лужу, в грязную, никому не нужную, всем мешавшую лужу, и всяк старался обойти ее, объехать.

Это и называется: очернить то, чем жили.

СТОЛБ НА НИВЕ

Тракторы пахут поле. На поле стоит столб. Объезжая его, трактористы выключают плуги, борозда обрывается, и вокруг столба остается клин непаханной земли.

Так повторяется из года в год, а земля, как и все в природе, пустоты не терпит. Она приняла и выкормила кусты репейника, конского щавеля, крапивы, потом и березу с осиною. Получился дикий клин посреди возделанной нивы. Он отнял у кого-то кусок хлеба. Когда нива волнуется под

ветром налитым колосом, в тихом ропоте ее мне чудится укор... столбу: «Зачем ты стоишь тут? Сгнил бы поскорей да свалился».

Идет год за годом, волнуется нива, а столб все не валится. Он... железобетонный.

Железобетонный столб природе не свалить. Одолеть его в силах только тот, кто поставил,— человек.

СТАРЫЙ ТЫН

Не знаю, когда поставлен тын на меже огорода. До меня. Я тут еще не жил. К моему приезду он был уже старый.

Каждую зиму метели наметали у ног его суметы, под напором снегов он покосился, веснами я подпирал его рогатками, и полусгнивший тын продолжал нести свою службу — защищал огород от потрав.

В одну из весен я насадил вдоль тына ягодных черенков, черенки разрослись, стали кустами, и нынче, когда развернулись листья, мне бросилось в глаза: как жалко выглядит рядом с буйной молодой зеленью серый гнилой тын!

«Убрать? — подумал я.— Сломать, сгрести в кучу и сжечь? Не-ет! Молодым буйным кустам скотины не сдержать. Они густы, но не страшны. Скотине страшен тын, старый мудрый тын».

ГАЛКА ПРОСНУЛАСЬ

Я встаю вместе с солнцем, выхожу на придворок и начинаю пилить дрова. В десяти шагах от козел в дупле старой ивы галка высиживает птенцов. Когда птенцы вывелись, галка стала просыпаться, едва заслышав звон пилы. Она высовывается из дупла и звонко щелкает. Потом вылетает, садится на макушку столба и, поглядывая по сторонам, надсадно кричит. Я уже понимаю

галкин язык: это она зовет супруга, говорит, что пора кормить детей.

Супруг появляется откуда-то из-за березы и садится чуть поодаль на провода. Галка видит, что в клюве у него пусто, взлетает и бьет супруга крылом. Прогнала и — за туалет. Встряхнет пуховой шалью на шее, распустит крыло, причешет-приберет каждое перышко. А сама поглядывает, куда супруг делся, почему так долго не летит, дети уж всю горланят. Вот наконец он появился, полез в дупло с добычей.

Галка сразу успокоилась, негромко щелкнула клювом и полетела в луга. Это она сказала: «Ну, теперь вижу, все в порядке, можно и самой позавтракать».

ВОРОН И ПЕТУХ

Я вернулся с рыбалки и выпотрошил улов.

На рыбы потроха петух привел кур. Белый, голенастый, с ярким гребнем петух очень красив. И заботлив. Сам не клюет, стоит на бугорочке — кур охраняет. Он знает: сейчас из леса прилетит ворон.

Я диву даюсь, как ворон видит, что сегодня есть чем поживиться. Когда я не хожу на рыбалку или возвращаюсь с пустыми руками, его целыми днями не видать. Я даже специально всю опушку леса выходил, высматривал его наблюдательный пункт. Не нашел.

Сегодня я с уловом, сижу на крыльце и жду. Из-за сада бесшумно опускается большая черная птица, настолько черная, что не знаешь с чем и сравнить. Рядом с белыми курами — день и ночь.

Ворон медлителен и осторожен. Петуха побаивается, куриц — нисколько. Петух грудью идет на него, он отскакивает. Но стоит стражу отвлечься, ворон живо оттесняет куриц, но потроха не хватает жадно, а оглядится, примерится, осторожно берет клювом и заглатывает. Знает себе цену старый ворон! За это я его уважаю и иногда

втайне от петуха подкармливаю. Надеюсь, что он откроет мне все-таки секрет своего поразительного зрения.

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Лес набрал полный лист, стоит яркий и свежий, омытый обильными росами и густыми туманами.

На опушке желтые поляны одуванчиков. Ступаю медленно и осторожно — не хочется топтать первую земную красу.

Вдруг с ближней сосны подала голос ворона:

— Кр-нам! Кр-нам!

Это она видела меня и оповещает лесное население: «К нам идет человек!» Уж не часовым ли посажена ворона на опушке?

Тотчас где-то в глубине леса хриплым басом ударил тревогу старый ворон — караульный начальник:

— Кр-раул!

По его зову поднялись два молодых вороненка, закружились над головой, закричали отчаянно:

— Тр-ронь! Тр-ронь!

О! Это наверняка патрульные. Виражируют крыло в крыло, провожают пришельца неотступно.

Я улыбаюсь: ну, чего всполошились? Люди теперь просвещенные, знают: нельзя разорять птичьи гнезда. А мне.. и не взлесть уж на сосну.

ПЕРВЫЕ ПЕСНИ

На опушке леса живут желтогрудые с черными передничками синички. В марте, когда вокруг деревьев начинают вытаивать лунки, сверху, с голых берез и осин, звенят тоненькие хрустальные колокольчики.

Это синичкины песни.

Я хожу в лес слушать, о чем поют эти невелички.

Вот налетел знобкий утренний ветерок, качнул

на ветках сосульки, они тонко зазвенели, и с березы тотчас донеслось:

— Тиль-тиль-тиль... Тиль-тиль...

К полудню разогрело, и сосульки «заплакали». Капля за каплей буравят они снежный наст. Синичка торопит:

— Бис-трей... бис-трей...

Пробуравили капли крепкий наст, ушли под снег, копятя там лужицей. Лужица потекла робким, коротеньким, с воробыный шаг ручейком. Я не слышу ручейка, а синичка слышит и зовет подивиться:

— Види-тиль... види-тиль...

Нагрело солнце мохнатые лапы елок, снег падает вниз. Шлепнулся ком в рыхлый снег, будто медведь след оставил. Как радостно стало синичке!

— Тирли-ти-ти... Тирли-ти-ти...

Впору в пляс идти от такой песни!

ПЕСНЯ

Над Волгой у тропинки стоит сухая сосна. Давно она усохла: кора опала, ветви обломались, но толстый просмоленный ствол еще крепок. В стволе дятлы выдолбили дупла, в дуплах поселились скворцы.

Я иду утром по воду. Скворец на суку сидит и лениво посвистывает:

— Ти...и... иу...у...

Помолчит — и опять, тихонько, нехотя, будто поневоле:

— Ти...и...иу...

Вот лентяй! Никак не размается, песню по-настоящему спеть не хочет. Сейчас я тебя раззадорю!

Зачерпнул ведра, оперся о коромысло, стою и насвистываю. Синице подражаю, соловьиное колено вывел.. Что случилось со скворцом! Как он разошелся! Крыльями трепещет, носик кверху задрал, сам аж в струнку тянется и такие рулады выводит — куда мне!

— Вот так-то, брат,— сказал я скворцу.— Для хорошей песни задор нужен.

ПЕРЕПЕЛ

Как только солнце склонится к закату и спадет дневная жара, в поле за околицей начинает бить перепел. «Спать пора... спать пора...» — торопит он хозяек. И хозяйки, повинуясь его зову, доят коров, разливают по кринкам парное молоко и уходят в избы. Ужинают без света и укладываются спать.

На рассвете перепел будит хозяек: «Гнать пора... гнать пора...» Хозяйки отворяют хлевы и гонят скотину в поле.

Так и живет летом деревня, не наблюдая часов. По перепелу.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Даже в самую грибную пору, когда боровики попадают чуть не на каждом шагу, я не хожу по лесу с раскрытым ножиком, обязательно складываю его и убираю в карман.

— Грибы ножика боятся и прячутся. Будешь носить ножик в руке — с пустой корзиной домой воротиться.

Так наставляла меня бабушка, когда я собирался в лес. Меня одолевало любопытство: неужели у грибов глаза есть? Возьму ножик в руку и хожу разбойником: «А ну, где вы, покажитесь, враг голова долой!» Хоть бы поганка какая попалась — ничего, чистый лес кругом. словно метлой вымели.

Спрячу ножик в корзину, папоротником прикрою — тут они и показываются: один из-под еловой лапки нос высунул, другой из зеленого мха шляпку приподнял. Ну как не поверить, что грибы от ножика прячутся!

Теперь я с внуком хожу в лес. И тоже наставляю, чтобы убирал ножик в корзину. Но внук шибко грамотный, дедушкиным сказкам не верит. Тогда я объясняю по-другому:

— Моя бабушка не проходила науку под названием «техника безопасности». Но она была мудрой

и знала, что ходить по лесу с раскрытым ножиком опасно: споткнешься — себя поранишь.

Это внук понимает и правилу техники безопасности подчиняется. Но вот гляжу на него и с грустью думаю: отчего глаза его не вспыхнут любопытством, одна только страсть — набить корзину.

ГРИБЫ ВЫСЫПАЛИ

Краем березника натоптана тропинка. Я шел по ней из лесу с пустой кошелкой: в бору грибов не было. И вот на этой коротенькой тропинке задержался часа на два.

Опушка была устлана опавшими листьями. Среди желтых листьев глаз заметил коричневый бугорок — шляпку боровика. Присел перед ним, выковырнул из плотной супеси, и пока счищал с корня песок, заметил второй бугорок. Стал я ощупывать взглядом чуть не каждый лист и, хотите верьте, хотите не верьте, случилось настоящее чудо: желтые листья прямо-таки на глазах превращались в боровики. Они тянулись полосой вдоль тропы так густо, что я сквозь подошву сапога чувствовал их мягкий хруст. Не разгибаясь, прошел, а скорее на корточках прополз всю опушку, набил грибами кошелку и все карманы. Когда класть стало некуда, разогнулся и сказал: «Ладно, оставайтесь до завтра. Завтра с корзиной приду».

Пришел наутро с корзиной и корзину верхом набил.

Это и называется: грибы высыпали.

ЕЖОНОК МИТЬКА

У меня под сенями живет ежиха. Вечером, когда стемнеет, она вылезает и ходит у крыльца, ищет чего-нибудь поесть. К этому времени яставляю миску с молоком. Ежиха так привыкла к готовому ужину, что совсем не пуга-

ется человека. Я сижу на крыльце. Ежиха подходит к миске, лапкой миску наклонит и чмокает.

Так мы жили недели две. И вот однажды следом за ежихой появился ежонок Митька. Я почему-то сразу окрестил его Митькой. Он был такой махонький — на ладони умещался, — но уже колючий.

Митька молоко есть не стал, обошел миску стороной и направился к огороду. Я перенял его, взял на руку и стал внушать, что в огород ходить ему рано, там заблудиться можно. Он недовольно фыркнул: не соглашался со мной. Я опустил его на землю, направляя опять под сени, в теплое гнездо. Он постоял, подумал и — повернул к огороду. Пересек песчаную дорожку, нашел в плетне дыру и подался в картофельные грядки.

— Вот упрямец! — сказал я вслед. — Не сидится тебе дома.

А потом подумал: да ведь время ему пришло. Вырос Митька, самостоятельным стал, свою дорогу пошел искать.

Назавтра из-под сеней вылезло сразу трое ежат. Я никак не мог узнать, который из них Митька. Все они были на одно лицо. Но по тому, как один из них смело пошел в огород и повел за собой братьев, понял, что он и есть Митька. Старшие всегда ходят первыми.

ЗЛОДЕЙСТВО

Он ходил на рыбалку со связкой удочек, с сачком, с малой саперной лопатой и с туго набитым рюкзаком. Лет ему было под сорок, бороду и усы брил, но холил ноздревские, во всю щеку, бакенбарды. Ловил он главным образом лещей — перед домом, в котором квартировал, висели снизу разнокалиберных подлещиков: вялил на зиму под пиво.

Однажды он решил наказать ворону: она склевала у него приманку. Вечером, уходя с реки, он выпотрошил лещей, насадил внутренности на крючок, а крючок леской привязал к колышку.

Утром я проходил мимо и увидел забившуюся в ямку ворону, она не могла каркнуть, из беспомощно разинутого клюва вывалился красный язык. Жалкий, взлохмаченный вид вороны выражал ужас и страдание: острая железная игла жгла ей нутро.

Я взял ворону на руки, высвободил из путаницы лески и ножом у самого клюва обрезал привязь. Ворона рванулась и упала в воду.

Поставив хвост парусом, она медленно подплыла ко мне. Я сидел неподвижно. Поняв, что зла ей не желают, ворона вылезла из воды, отряхнулась у моих ног и хотела взлететь, но только подскочила и жалобно оглянулась на меня. Я не мог исправить чужого злодейства. Птица отвернулась и медленно пошла по тропе с таким горестным видом, будто смертельно обиженный друг уходил навсегда.

ПЛОТВИЧКИ

Летом Дёржа совсем мелеет и густо зарастает водорослями. Возле кладок, с которых берут воду, есть чистый омут, в нем живут плотвички. Рыбешки настолько привыкли к людям, что не разбегаются, когда зачерпываешь воду. Никому не приходило на ум ловить эту мелочь размером с детскую ладошку.

Но вот появился дачник. «Гляди-ка, рыба! Богато живете!» Взял сетку и процедил омут. Нанизал рыбешек на лозовый прут, развел костерок, сидит и коптит. Что этакому верзиле десяток малявок — на одну покуску! Но он с таким вожделением глядит на низку, будто его год не кормили.

Дождлся. Понес в рот, зачавкал. У меня что-то случилось со зрением. Я не вижу человека: ни рук, ни глаз, хотя знаю, что все это у него должно быть, а вот не вижу. Вижу только рот, необыкновенно большой, с крепкими зубами, смачно чавкающий, механическидвигающий челюстями, перетирающий, словно жернова, кости, плавники, по-

троха... Вот беда, я не вижу человека, только — рот, приемное устройство Госпожи Ненасытной Утробы.

Зеркало бы ему сейчас!..

ВОРОБЬИ

На грядке после зимы выпало несколько кустов клубники, образовался пятачок чистой прогретой солнцем земли. Место это облюбовали воробьи, насверлили лунок и принимают солнечно-песчаные ванны. Хозяйка негодует: отбою от разбойников нет! Чего только не придумывала! Семенами засеет — выклюют. Клубничные усы притянет, прикопает — выдергают. Чучело поставила — нипочем. Кричит, гоняет, а того не сообразит, что воробьям лечиться после холодной зимы надо. Они хозяйкины благодетели. Не будь воробьев, гусеницы весь огород пожрали бы. Но вот жалко неразумной пятачка гряды, воют с воробьями. На ее же счастье, безуспешно.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ВАРВАРА

Две сестры спилили две березы. Они были ровесницами, когда сестры научились различать деревья, березы были им по плечо. С тех пор прошло полвека.

Березы как родились вместе, так и росли в обнимку, а сестры разошлись: Варвара в город замуж вышла, Катерина в деревне вековой осталась. Никто никому не мешал: ни березы сестрам, ни сестры березам. Всяк своей жизнью жил.

Но вот вышла городская сестра на пенсию, приехала на лето к деревенской. Отличка сразу в глаза бросилась. Варвара прямая, ходит мужским шагом, грудь вперед, волосы по плечам, голову кверху — решительная женщина. Катерина при-

согнулась, больше в землю глядит — что да как растет, наблюдает, оттого и характером помягче.

И вот же удивление: та, что вниз глядит, словно бы и не видит, что картошка под березами и тиной побледнее и клубнями помельче, а та, что ходит, голову задрал, сразу это узрела. Узрела и говорит: спилить надо. Катерина отвечает: да много ли тут — пятачок. Мерку не доберем, Бог с ней. Не рационально, настаивает Варвара, мерка тоже денег стоит, неси пилу. Тогда Катерина подняла голову, поглядела на белые стволы, на зеленые кроны и говорит: жалко. А Варвара ей: на месяц дров, дуреха, все в лес не ехать.

Спилили сестры березы. Рухнули белые на пожню и долго еще зелеными лежали. Потом листва пожухла, побурела, и ярче проступила сквозь нее неживая белизна березовых тел. Варвара отгостила и уехала. А Катерина взяла топор, рубит ветки на дрова и... плачет.

НА ВЫРУБКЕ

Я пошел в лес вырезать удилище. На вырубке остановился и стал насматривать тонкий орешник. У кучи сухого хвороста увидел странную березу. Словно от боли скрючилась она каким-то немислимым вопросительным знаком.

Подошел — и точно: порубщик, сваливая сучья в кучу, не заметил, что прижал вершину березки к земле, и березка, напрягая слабые силы и стараясь выпростать голову, изогнулась крючком да так и замерла, захваченная осенью.

А весной две верхние ветки потянулись к солнцу, выпрямились, окрепли, утратили вислость и обрели стволиную стройность.

Я захотел выпростать из-под хвороста вершину, но она уже усохла и отломилась под рукой. Березка не распрямилась. Она осталась уродливой, чтобы прямо росли две маленькие красавицы — ее дочери.

ЛЕСНИК-МЫСЛИТЕЛЬ

Устав собирать грибы, мы сели на поляне отдохнуть. Федор Федорович, лесник-пенсионер, спросил:

— Сколь, по-твоему, этой сосне годов?

Сосна, на которую он показал, была невысока и казалась нестарой. В шутку я сказал, что сойдет за молодуху.

— А не хошь — моя ровесница?

— Ну да?

— Старая знуда, — сказал он в рифму. — Видишь, комель скрючило. Характер такой: весь век знудит.

Я засмеялся: отчего сосна может «знудить»?

— Место такое досталось. Ветры гнут, дорога рядом — проезжий колесом зацепит, лось вершину в молодости откусил. По лесу ходишь — приглядывайся: у каждого дерева — своя натура. А натуру место определило. На опушке упрямыцы растут, на полянах — зазнайки, а ежили густо стоят — гордецы и завистники развиваются.

— Гордецы, надо полагать, те, что соседей обогнали?

— Обогнали и солнце захватили. Завистникам не досталось. Засохли. Зависть всегда сердце сушит.

— Да вы поэт, Федор Федорович!

— Мыслитель, — сказал он с улыбкой. — На лес гляжу, о людях думаю. Тоже ведь так-то: каково место, таков и характер...

ЖЕРДИНА

Понадобилась в хозяйстве ровная жердина. Пошел в лес вырубить.

На опушке молодой соснячок. Издали — будто частокол стоит. Думаю, вот хорошо, далеко ходить не надо, тут и вырублю. А подошел вплотную — не вижу ровной, хоть небольшой изгиб, а все же есть.

В березник подался. Этот совсем как по линейке нарисованный. Но и тут то же. Глядишь с одной стороны — ровнее не надо, точно белая струна в небо устремилась, а поглядишь с другой — такой горб выпер, только на санный полоз и годится.

Часа два по лесу ходил, еле-еле ровную жердину насмотрел. Оказывается, прямого в лесу куда меньше, чем кривого.

А что уж о людях говорить.

ГОРДЕЛИВЫЙ ПОДСОЛНУХ

На огороде у самого тына росли подсолнухи.

Лето пошло на убыль, день ото дня все ниже клонили подсолнухи отяжелевшие головы. Только один все тянулся вверх, горделиво вознеся к солнцу маленькую яркую шляпку. И было в его позе что-то похожее на упрек и вызов соседям: «Вы согнулись, а я строен и прям. Так и буду стоять, не склонив головы».

И простоял до осени, пока не срубил его хозяин под корень и не выбросил вместе с корзинкой-бессемянкой на свалку. Но и там, на свалке, гордился он перед обезглавленными соседями тем, что не потерял головы.

— Удивительно,— вздохнула склонившаяся под тяжестью плодов яблоневая ветка.— В каждой семье — свой гордец. На яблоне — побег, на поле — колос. И что за диво: пустое, а красуется.

С ГОРЫ ВИДНЕЕ

Я возвращался из лесу. От усталости едва передвигал ноги. Все хотелось сесть и отдохнуть. Но дорога шла низиной, и хотя присесть было где — то валун попадался, то пень, то куча

сухой соломы, — какая-то сила все тянула и тянула меня вперед, к невысокой гряде.

Наконец взошел на пригорок, сел и огляделся. Широкий вольный мир открылся взору: поля, увалы, излучина Волги, березники на том берегу, далекие крыши деревень. Так вот в чем дело: ногам — покой, очам — отрада! Не потому ли и родилась поговорка: с горы виднее...

Жизнь — дорога. И тоже тянешь до пригорка. Стукнет сорок, пятьдесят — оглядишься: тело уж покоя просит, а разум размышлений.

ВЕТРЕННЫЙ ДЕНЬ

По синему небу несутся белые с темными поддонами облака. Ветер гонит их над лесом, и лес, клонясь по ветру, шумит прибойным валом. В монотонной протяжности лесного шума ухо уловило странные оттенки: струистый шелест ручья, жестковатый шорох камыша, далекий гул поезда. Откуда бы? Кругом ни реки, ни озера, ни железной дороги.

Я стал глядеть на деревья. Ветер налетал сильными упругими порывами. Березы гнулись гибко, всей кроной. Длинные ветви их, словно водоросли под струями реки, вытягивались по ветру, листья, ложась горизонтально, прижимались один к другому, и ветер, скользя по их гляцеватой поверхности, создавал мягкий шелестящий звук. Осины встречали ветер иначе. Они качались всей массой и дрожали каждым листом. Круглые, с зубчатыми краями, на длинных черенках, осиновые листья крутились каждый в отдельности, терлись друг о друга, увеличивая сопротивление и производя жесткий, сухой ропот. Сосны же были стойки и горды, они лишь покачивали кронами, и ветер, пролетая сквозь гущу хвои, словно сквозь сито, шумел гулко и тревожно.

Беда одна, но каждый встречает ее по-своему.

ЗМЕЯ

Змея выползла из-под кучи валежника погреться на утреннем солнце. После ночного дождя валежник был мокрый и скользкий. Змея выбрала замшелую корягу и, вытянувшись вдоль, стала похожа на упавший с сухостоины сучок. Пригретая солнцем, она задремала.

По лесу шел человек: в одной руке грибная кошелка, в другой — трость. У грибников глаз зоркий, человек разглядел змею и ударил тростью. Судорожно извившись, змея затихла.

За что?

За то, что она гадюка. Ему внушено отвращение ко всему ползающему.

ЛАНДЫШЕВАЯ ПОЛЯНА

Ранней весной, когда цвела ветреница, и от ее цвета казалось, что в лесу еще не согнало снег, на поляне под соснами, сквозь сухую хвою и слежалые бурые травы, прорезались острые зеленые шилья. День ото дня шилья поднимались, острые кончики их утолщались и разворачивались в трубочки, наподобие тех кулечков, что делают на базаре торговки цветочными семенами. Прошла неделя, и трубочки развернулись в два широких, сочно-зеленых, с четкой продольной, словно отутюженной, складочкой листа — так стремительно растет ландыш. Потом он выбросит тонкий стебелек с крохотными фарфоровыми колокольчиками, и под их тяжестью стебелек выгнется дугой, и за этой неповторимой красой погонятся люди, будут нещадно рвать ландыш, ставить букеты в вазы, чтобы через день-два выбросить на помойку — ландыш не любит неволи и скоро увядает. Мне, видевшему рождение этой красоты, когда представляю ее на помойках, становится больно и появляется острое желание оградить ландышевую поляну от бездумных рук, только вот не знаю как.

Наблюдая ландыш, я не сразу обратил внима-

ние на другие побеги, тоже густо выбившиеся из земли. Зеленый цвет их был немножко грязноватый, как бы припудренный пылью, увенчивались побеги такого же цвета катышками, очень похожими на малюсенькие детские кулачки. Кулачки постепенно разжимались, разгибали пальчики, а каждый пальчик в свою очередь разворачивался в нежный, узорчатый папортниковый листок. Быстро рос ландыш, и так же быстро простирали над ним из узорных листьев густую крышу-завесу папортник. Так вот в чем дело: природа, сотворив редкую красоту ландыша, сама позаботилась о защите ее — занавесила от жадных глаз пологом непривлекательного папоротника.

ГОРЬКАЯ ОСИНА

Лист на осине затрепетал — конь в поле наедаться стал. Такова примета. Нынче соответствия почему-то нет: кони уже пасутся, коровы на траве молока прибавили, а осинники голые. Даже страшно как-то: весь лес зазеленел, иволга поет, а она самая поздняя птица, позже соловья прилетает, когда в березовой листве укрыться можно, а осины все еще не распускаются.

Наконец в ночь на вешнего Николу, то есть на двадцать второе мая, под мягкий шум морозящего дождя осиновые почки развернулись — каждая в букетик нежных листочков, — и немислимо яркую зелень леса разбавили осинники светлой охрой. Лес сразу стал многоцветным: подчеркнуто темные сосны зажгли на ветках-шандалах тысячи желтых свечек; сумрачная ель достала из сундука светлые кружева и отторочила ими каждую складку своего сарафана; несметно богатая бузина так расцветила скромное платьишко гроздьями лимонно-желтых соцветий, что затмила нарядом даже кипенно-белую черемуху; наконец апофеозом красоты, песней великой радости зачатия новой жизни выступила из чернолесья дикая яблоня вся в бело-розовом подвенечном наряде. Майский лес, словно по

волшебному уговору, встретил пробуждение своей заспавшейся сестры ликующей красотой. Ну как после этого не зауважать человеку горькую осину!

ФИОЛЕТОВЫЕ СОСНЫ

Сегодня я пошел в лес в начале десятого, когда солнце уже встало, но над лесом еще не взошло, и его не было видно.

Меня поразили сосны, цвет их стволов был фиолетовый, на старых гуще, на молодых прозрачнее, ближе к сиреневому. Сосны походили на громадные, высотой и в два человеческих роста и с пятиэтажный дом фиолетовые карандаши, расставленные то густо, то редко по белому снегу.

Уж не случилось ли что у меня со зрением? Протер глаза, зажмурился и постоял с минуту слепым — нет, ничего не меняется. Забрался в густой подлесок, зашел с западной, затененной стороны — то же самое: стоит чудный фиолетовый лес.

Тогда подхожу вплотную к сосне и начинаю искать разгадку.

Чешуйки старой, одеревеневшей коры, обычно темно-серые и даже черные с зеленым налетом лишайника, сейчас сильно посветлели и между ними проступили розоватые прожилки живой коры. Морозы, стоявшие весь январь, убили лишайник, а вчерашняя резкая оттепель, словно хозяйка мокрой тряпкой, прошлась по стволам, омыла, высветлила кору, а сегодняшней ночной заморозок схватил влагу тончайшим прозрачным инеем, затушевал, смягчил контрасты, и вот все цвета: серый, зеленый, розовый, белый соединились, образовали фиолетовый. К тому же выкатившееся из-за горизонта красным колесом солнце, еще невидимое за лесом, но уже разлившее по полянам свой отраженный небом свет, придало воздуху легкую прозрачную розоватость — вот и все объяснение фиолетовому чуду. Но чтобы это чудо случилось, надо было именно в таком порядке соединиться морозу, оттепели, заморозку, чистому солнцу и равнодушному взору человека.

ЧАША УЛЬТРАМАРИНА

Я уже был наслышан о нем: и страшной глубины, и необыкновенной прозрачности, и ни в какую погоду не меняющее цвета, и происхождения будто бы волшебного — это загадочное озеро Жеребенец. Рыба в нем — только окунь с чешуей размером с двухгривенный, чистится легко, и уха из него необыкновенного вкуса. И будто бы таит озеро на дне свою историю то ли зловещую, то ли романтическую. Жил где-то неподалеку, еще во времена Литвы, некий пан, и вот то ли с ведьмами подружился, то ли в красавицу-паненку влюбился, с точностью это никому из теперешних не ведомо, всяк по своему говорит, и понесло его темной вьюжной ночью напрямик через озеро на чудных игреневых рысках. Страшный гул раздался по лесу, раскололась гора, и лед разошелся, и поглотила вода и дворец-замок и пана с жеребцами. А еще говорят, что в ненастные ночи слышно бывает, как со дна тревожно ржут кони...

И все-таки, как ни наслышан я был о Жеребенце, увиденному поразился. Среди борových сосен, у самой дороги лежала большая круглая чаша, всклень налитая ультрамарином. Ни бронза сосновых стволов, ни темная зелень их крон, ни голубое с белыми облаками небо не меняли цвета воды. Вода была сама по себе, она не вбирала в себя ничего из окружающего и не пускала к себе ни остролистого тростника, ни озерной кувшинки, ни болотной ряски, только сухие иглы сосен да почерневшие листья берез виднелись сквозь хрустально чистую воду на тридцатиметровой глубине. И не имела вода вкуса.

На Жеребенце можно сидеть часами и не устать любоваться его удивительным, чистейшего ультрамарина цветом, и гадать, как сотворило сие чудо природа. И вот уж истинное волшебство: увидишь — и обретишь непокой. Озеро станет являться тебе и во сне, и за обедом, и во время работы — явится вдруг, без всякой связи чудным видением, кольнет вопросом: откуда, почему? — и исчезнет,

оставив беспокойное желание доискаться разгадки.

Можно думать, что так вот и заражается человек страстью постижения тайн.

ПАНЦИРЬ И ГУСЕНИЦА

Я увидел его неожиданно. Тонкий, как спица, луч солнца, пронзив густую крону сосны, упал на песчаную, влажную от ночной росы дорогу, и в ямке от подковы что-то сверкнуло изумрудным цветом. Я поставил ведро с родниковой водой на землю и нагнулся. Изумруд оказался навозным жуком. Жук был могуч и красив в своем иссиня-черном панцире. Он пятился назад, загибая передними лапками, словно клешнями снегочистки, крупинки навоза в свою подземную норку. Да это же санитар, подумал я, наблюдая, как убывает кучка навоза. Сколько их, незаметных и еще неизвестных нами очистителей земли! Любопытство подталкивало меня на варварство: раскопать норку жука и посмотреть, что там. Но разум взял верх: зачем? Я не исследователь, наукой не занимаюсь, мое любопытство праздное. Норку не тронул, но беспокойство за красивого, могучего жука во мне поселилось. Могуч-то он в своем мире, а что он против человека и его машин — кроха, песчинка, наступишь ногой — и нет этой красоты и мощи. На дороге ведь поселился.

Два следующих утра, возвращаясь от источника, я находил норку жука и радовался, что она цела. А на третье увидел на том месте след тракторной гусеницы. Песок был разворочен и спрессован в фигурный узор из рубчиков и ямок. Отпечатанный на песке узор был красив, но красота эта была разрушительная, убившая все, что жило под нею в земляных норках. Панцирь не защитил жука от машины. Его может защитить только разум человека, повелителя машин.

ТВОРЧЕСТВО И РЕМЕСЛО

В Михайловском, в кабинете Пушкина, я с удивлением глядел на рабочий стол поэта: больно уж маленькой показалась мне столешница. А в Старой Руссе, в доме Достоевского, я уж и не сдержался, выразил удивление вслух: до того был мал столик писателя — наподобие теперешнего журнального! Как же они работали?

Мои представления о размерах рабочего стола сложились в редакциях газет. У редакторов местных газет столы похожи на бильярды и так завалены бумагами, что для писания остается площадочка размером со стандартный лист. Для работы-то, собственно, больше и не надо, остальное просто для макулатуры, ибо в кипах бумаг — все вчерашнее, отжившее, для творчества вовсе не нужное: там чужие мысли, чужие слова, и лежат они на столе потому, что таково ремесло редактора — перерабатывать чужое.

Для творения достаточно стола размером с бумажный лист, для ремесла нужна тормозная площадка вагона.

ЛЕСНЫЕ ФЕИ

Они в самом деле существуют, прекрасные лесные феи. Видеть их можно весной, в пору цветения садов. В глуши чернолесья, под покровом ольх и осин, они наряжаются в праздничный, кипенно-белый наряд и выходят на опушки рощ и перелесков и стоят, красуясь и очаровывая нас, не более недели, а потом укроются в загустевшей листве, как будто вовсе исчезнут.

Я ехал в быстром «Икарусе». Большие стеклянные окна создавали иллюзию езды в открытом экипаже. К шоссе то с одной стороны, то с другой подходил лес, он бежал навстречу, поравнявшись с автобусом, на мгновение как бы приостанавливался и летел дальше однообразной серо-зеленой стеной. И вдруг стена словно бы вспыхивала

ослепительно белым видением. Я замечал вспышку шагов за сто вперед, жадно впивался взглядом, и, резво вертя головой, старался разглядеть лесное чудо. Вскоре еще одно мелькало, и еще, и еще. Не было никакого порядка в этих белых вспышках, они возникали и справа и слева, то на самой опушке, то чуть оторвавшись от нее, то прячась за кустом ивы-бредины.

Это и были феи — омытые утренней росой, цветущие лесные яблони. Как украшали они майское зеленое чернолесье, как возвышали душу неопишуемой земной красой!

Кто посадил их тут? Да человек же! Кинул яблоко, семечки проросли, в борьбе за свет и пищу побеги выгнулись к светлой опушке, а пришло время — оделись в белый наряд и явились нам волшебными феями.

Чтобы в обыкновенном увидеть волшебное, надо чуть-чуть фантазии.

ПОЛУШКА И РОДНИК

В окрестностях нашей деревни есть родник, который, как можно понять, на протяжении двухсот лет считался святым. Понять это можно вот из чего. Мальчишки бегают на родник вымывать старинные монеты. Штук семьдесят намыли, начиная с полушки 1761 года и кончая гривенником 1967-го. Даже медальон с изображением Черниговской Богоматери нашли, и еще какой-то совсем стертый, и золотое колечко неизвестных времен.

Я увязался за ребятами — посмотреть работу добытчиков. Мальчишки залезают в родник, лопатой выбрасывают ил в канавку и пускают по ней воду. Вода вымывает ил, а монеты остаются на дне. Монеты почернели, но когда отмоешь, почистишь суконкой, заблестят, и тогда можно прочитать и стоимость, и год чеканки, и герб. Любопытное занятие.

Еще любопытнее разгадывать историю родника. Каждая монета кинута в родник человеком. Кто

он был? Какая беда привела его сюда? От какого недуга, от какого лиха жаждал он исцеления? Часами можно сидеть в лесной чащобе, слушать струистый говорок ключа и представлять себе паломников: были среди них деревенские бабы и мужики, нищие странники и богатые барыни, увечные солдаты и монахи, старушки богомолки и дородные купчихи — вела их сюда из дальних городов и весей молва о целительной силе подземной воды.

Не берусь судить, насколько целебны источники нашего края. Разные они. Дивлюсь не силе воды, а силе молвы: двести лет поклоняться ключу! Помню один ключ под Себежем. Там из-под сопки меж двух озер выбивался чистый, студеный родник, и стоял над ним деревянный крест. Сгнивал один крест, на его место ставили другой. Тоже, наверно, сотни лет ходили сюда люди, только не монеты кидали в воду, а вешали на крест полотенца, ленты, платки. Наступило время борьбы с предрассудками. Крест выкапывали, ломали, но проходило две-три ночи — и на его месте стоял новый. Так повторялось несколько раз, пока не нашлись умные люди: вырыли колодец, одели его в бетонные кольца, сделали ворот и крышу, благоустроили склон сопки. Теперь идут к ключу напиться, а не молиться, и бережности от этого нисколько не убавилось.

Вот и думаю: поверить в святость воды, чтобы с благоговением относиться к роднику, мы уже не можем. Нам надо с прежнею силой поверить в другое: небрежение к чистой воде — ключу, колодцу, ручью — неотвратимо ведет к беде.

ЗАПАХИ ЦВЕТУЩИХ ТРАВ

Когда зацветают лесные травы, я каждое утро, возвращаясь с ведром воды от родника, несу в дом пучок травы: то мяты-душицы, то зверобоя, то горькой полыни, то чая-кипрея, то белого донника... В моем доме смешались ароматы трав, как воспоминания в моей голове. То вдруг



пахнет сладковатой душицей, и из глубины памяти всплывает счастливый день юности: первое письмо, которое я читаю в саду, белый листок почтовой бумаги тонко пахнет жасмином, и я тайком прикладываю его к губам. То вдруг все запахи перебьет резкая горечь полыни, и я опять вижу пыльную дорогу и кроваво-бесформенного человека на ней, убитого бомбой. Что-то непонятное происходит со мной. Почему именно запахи ассоциируются с состоянием души? Может быть, тогда, в давние-давние дни, мое обоняние уловило запах, которого я не помню, но который, словно зарубка, остался в каком-то тайничке мозга и, разбуженный теперь, повлек за собой виденное и запомненное. А может быть, наоборот: виденное всплыло само по себе и разбудило тот запах, который и выделило теперь обоняние из букета лесных трав. Едва ли кто объяснит таинственную связь запахов и виде-

ний, да я особенно и не вдаюсь в причины, мне достаточно того, что лесные травы беспокоят мою память, не дают ей покрыться серой пылью забвения. А в этом, как я понимаю, и есть назначение души — не давать покоя памяти. Вот почему я рву цветущие лесные травы и вместе с родниковой водой несу в дом: вода поит тело, а травы — душу.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ РОЖЬ

Лето шло к вершине, рожь отцвела и наливалась. Стебли теряли сочность, и сквозь зелень листьев уже просвечивал их солоmistый цвет. От росы колосья клонились к дороге. Дорога цвета влажного песка, с рубчатыми следами колес разрезала ржаное поле с юга на север. Разгоравшаяся заря, высвечивая правую сторону, не проникала на левую, и там держалась мягкая, без теней, ночная сумеречность, отчего желтая дорога между ржаных стен казалась необыкновенно легкой, воздушной, в ней уже не было ночной тяжести, а пыльная знойность полдня еще не наступила.

Я оставил попутчиков спящими в доме и, сунув записку за ветровое стекло машины, пошел по дороге через рожь. Было свежо, заря обещала чистое солнце, приближение его уже чувствовалось, особенно на пригорках. Наши проселки редко бывают ровными и гладкими, они как пологие волны — с пригорка в низину, из низины на пригорок, и это их свойство, если иметь немного воображения, рождает ощущение мягкого качания в люльке. То свежестью прохлады пахнет в лицо, то ласково обоймет за плечи теплым потоком, то легкая сумеречность, то зоревой свет, и вместе, как бы заедино, будто и не существуют они отдельно, — то детство, то зрелость, то далекий позабытый день, то памятное вчера, то былая радость, то недавняя печаль — вместе с дорогой, с пригорка на пригорок, качает меня жизнь, от

светлого к грустному, от безмятежной юности к озабоченной старости.

Я не доспал какой-нибудь час, зато нашел целое сокровище — на дороге через рожь оно лежало никем не оброненное, не потерянное, оно было оставлено мною же самым по капле, по камешку на сотнях других дорог, и собрано, и поднято сейчас с этой.



ЗЛАТОЦВЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

ФИРМА ИЗГОТОВИТ
ОРИГИНАЛ-МАКЕТ И ОТПЕЧАТАЕТ:
ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ,
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ, КАТАЛОГИ, ПЛАКАТЫ,
ЛИПКИЕ АППЛИКАЦИИ,
КАЛЕНДАРИ, БЛАНКИ, КОНВЕРТЫ, ЭТИКЕТКИ.

Москва, ГСП- 4
Бумажный проезд, 14,
тел. 250 86 80

Иван Афанасьевич Васильев

РАЗДУМЬЯ

Лирические миниатюры

Ответственный за выпуск *Владислав Семенов*

Редактор *Любовь Антипова*

Художник *Анатолий Королев*

Художественный редактор *Ольга Боловинцева*

Технический редактор *Александр Митюшин*

Техническое обеспечение *Виктор Ушаков*

Сдано в набор 11.10.93. Подписано в печать 12.11.93. Формат 84×108/32.
Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 4,0.
Усл. печ. л. 6,72. Уч.-изд. л. 5,0. Тираж 5000 экз. Заказ № 988.

Издательство «Златоцвет»
101462, Москва, Бумажный пр., 14.

Оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Московская типография № 8 Мининформпечати РФ. Хохловский пер., 7

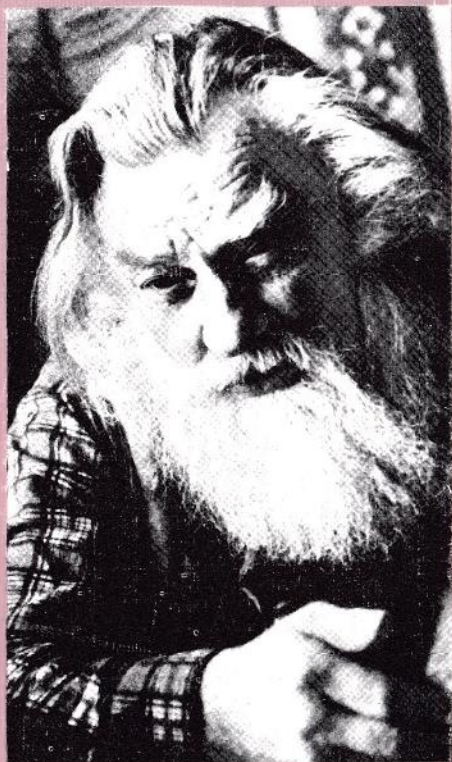
Иван Васильев

РАЗДУМЬЯ



Лирические миниатюры

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЛАТОЦВЕТ»
МОСКВА 1993



Я не доспал какой-нибудь час,
зато нашел целое сокровище —
на дороге через рожь оно лежало
никем не оброненное, не потерянное,
оно было оставлено мною же самим
по капле, по камешку
на сотнях других дорог,
и собрано, и поднято сейчас с этой.

Иван Васильев



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЛАТОЦВЕТ»